Павел Владимирович Безобразов

Сергей Соловьев. Его жизнь и научно-литературная деятельность

Павел Владимирович Безобразов

Сергей Соловьев. Его жизнь и научно-литературная деятельность

Серия «Жизнь замечательных людей»

Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175521

Аннотация

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Содержание

Павел Владимирович Безобразов 4
ГЛАВА I 6
ГЛАВА II 26
ГЛАВА III 79
ГЛАВА IV 108
ГЛАВА V 129

Павел Владимирович Безобразов Сергей Соловьев. Его жизнь и научно-литературная деятельность

Биографический очерк П. В. Безобразова

С портретом С. Соловьева, гравированным в Петербурге К. Адтом

ГЛАВА I

Детство. – Учение. – Студенческие годы

5 мая 1820 года, в одиннадцать часов вечера, накануне Вознесения, в тесной, плохо меблированной квартире священника Московского коммерческого училища Михаила Васильевича Соловьева родился сын Сергей, недоношенный, а потому слабый, хворый, целую неделю не открывавший глаз и не кричавший.

Из первых лет жизни Сергей Михайлович впоследствии с особенной любовью вспоминал о своей няньке Марье и даже приписывал ей большое влияние на образование своего характера. Это была невысокая худощавая старушка с очень приятным выразительным лицом, с добродушно-насмешливой улыбкой, очень набожная и притом всегда веселая, несмотря на множество злоключений, постигших ее в жизни. Девочкой ее разлучили с матерью, продали какому-то купцу, жившему в Астраханской губернии, потом ее отпустили на волю, и она поступила в услужение в Москву. Нянька Марья успела побывать три раза в Соловецком монастыре и столько же раз в Киеве.

“Рассказы об этих путешествиях, – говорил Сергей Михайлович, – составляли для меня высочайшее наслаждение; если я и родился со склонностью к занятиям историческим и

географическим, то постоянные рассказы старой няни о своих хождениях, о любопытных дальних местах, о любопытных приключениях не могли не развить врожденной в ребенке склонности! Как теперь я помню эти вечера в нашей тесной детской: около большого стола садился я на своем детском стулике, две сестры, которые обе были старше меня, одна тремя, а другая шестью годами, старая бабушка с чулком в руках и нянька-рассказчица".

Рассказы старушки, умевшей и в далеко не забавных приключениях находить забавную сторону, всегда отличались добродушным юмором и смешили ребенка. Занимали его сообщения о дальних странах, о Волге, рыбной ловле, больших фруктовых садах, о калмыках и киргизах, о похищении последними русских людей, об их страданиях в неволе и бегстве.

Своей няне Соловьев приписывал и религиозно-нравственное влияние. Начнет она рассказывать о каком-нибудь страшном приключении, о буре на море, о встрече с подозрительными людьми, мальчик в сильном волнении спрашивает ее: "И ты не испугалась, Марьюшка?" Ответ был всегда один: "А Бог-то, батюшка?" Впоследствии в трудных обстоятельствах жизни Сергей Михайлович нередко вспоминал слова няни: "А Бог-то?"

Сестер Сергея Михайловича, которые были значительно старше его по возрасту, отдали в пансион, и мальчик рос один. Одиночество способствовало, конечно, раннему раз-

витию и любви к чтению. Научившись грамоте, он с жадностью набросился на книги и в них находил единственное развлечение. Читал он все без разбору и прежде всего романы, попадавшиеся ему под руку: Радклиф, Нарежного, Загоскина, Вальтера Скотта, – такое чтение возбуждало преждевременно и без того пылкую фантазию мальчика и приносило ему гораздо больше вреда, чем пользы. Однако его склонность к истории сказалась уже в раннем детстве. Среди отцовских книг попалась ему “Всеобщая история” Басалаева и увлекла его; он перечитывал ее много раз и особенно прельщался римской историей, с которой ему вскоре после этого удалось познакомиться подробнее в сочинении аббата Милота. В то же время Серёжа увлекся Карамзиным и до тринадцати лет перечел его не меньше двенадцати раз. С особенной любовью останавливался он на тех страницах, где повествовались славные для России события, и поэтому отдавал предпочтение шестому тому (княжение Иоанна III) и восьмому (первая половина царствования Грозного). Мальчик увлекался настолько, что начинал бурно фантазировать в области истории. Он всем сердцем ненавидел Стефана Батория за его победы над русскими и по целым дням мечтал: “А что если бы сам царь Иван принял начальство над войском и разбил Батория, отнял у него Полоцк и Ливонию”; живо представлялось ему, с каким торжеством царь въезжает в Москву и везет пленного Батория. Не меньше исторических книг маленький мечтатель увлекался путешествиями,

читая “Историю о странствиях” и “Всемирного путешествователя”.

По обычаю духовенства, Михаил Васильевич Соловьев записал своего восьмилетнего сына Сергея в духовное училище, с правом учиться дома и являться только на экзамены. Он сам учил мальчика Закону Божию и древним языкам, а для обучения другим предметам посылал его в коммерческое училище, где в те времена преподавание не отличалось большим блеском. Отец не имел времени аккуратно заниматься с сыном, а потому по большей части ограничивался тем, что приказывал выучить наизусть такие-то склонения и спряжения из латинской грамматики, и только раз или два в несколько недель успевал проверить познания своего сына. Понятно, что мальчику, обладавшему пылкой фантазией, было очень тяжело механически, почти без всякого руководства заучивать латинские вокабулы, в то время как он постоянно жил в области мечты, вместе с Муцием Сцеволой клал руки на уголья или с Колумбом открывал Америку. Мальчик каждый день держал перед собой латинскую грамматику по нескольку часов, но обыкновенно вкладывал в нее другую книгу, какой-нибудь роман, и результатом было то, что, когда отец начинал спрашивать его, он отвечал плохо и совершенно неудовлетворительно сдавал экзамены в духовном училище. Поездки в Петровский монастырь, где помещалось духовное училище, Сергей Михайлович причислял к самым бедственным событиям в своей отроческой жиз-

ни: неопрятный вид учеников, грязные и грубые до зверства учителя возбуждали сильное отвращение в мальчике, привыкшем к домашней жизни. Один из учеников сделал однажды какую-то довольно невинную шалость, к нему подскочил преподаватель, вырвал у него целый клок волос и торжественно положил их на стол. Такие сцены, естественно, вселяли в мальчика страх к духовному образованию, потому что он был немало наслышан о грубости семинарских нравов и вообще не чувствовал ни малейшей склонности к духовному званию. Под влиянием матери, принадлежавшей к светскому сословию, а также из-за неудовлетворительно сданных экзаменов М. В. Соловьев после некоторого колебания решил выписать сына Сергея из духовного звания.

Тринадцати лет поступил он в третий класс Первой московской гимназии. Директором был Окулов, добрый и милый человек, очень любезный, славившийся в обществе своим искусством рассказывать анекдоты, и в то же время известный своим мотовством; он держал много пансионеров и не занимался делами, предоставляя их инспектору Белякову. Это был человек неглупый, распорядительный, но желчный и грубый, часто кричавший на учеников и бранившийся… Порядок в младших классах, где было до ста учеников, оставлял желать много лучшего: на передней лавке ученики еще кое-что слушали, на средних разговаривали, на задних спали или играли в карты. Дисциплина установилась только с назначением попечителем Московского округа графа

Строганова вместо князя Голицына, когда инспектором стал вместо Белякова учитель математики Погорельский·– человек ловкий, деятельный, самолюбивый, желавший угодить попечителю и потому следивший за порядком. Он сменил учителей, не хотевших ничего знать, кроме учебника, или просто “без царя в голове”.

Соловьев учился хорошо по всем предметам, кроме математики, к которой чувствовал природную антипатию, усиливавшуюся еще оттого, что в третьем классе был учителем некто Волков, большой педант и человек довольно грубый. Он, например, обращался к мальчику с такими словами: “Дурак ты, Соловьев! Уравнения второй степени решить не можешь! Жаль мне твоего отца: отец твой – хороший человек, а ты – дурак!”

Однако летом Соловьев наверстал упущенное, отец взял ему учителя, и осенью он блистательно выдержал экзамен, так что перешел в четвертый класс первым учеником по всем предметам. Первым, кто подметил выдающиеся способности Соловьева, был Попов, преподававший русский язык и словесность, начиная с четвертого класса. Он умел возбудить в учениках охоту к занятиям, прекрасно разбирал классические произведения литературы и ученические сочинения и на этих разборах не только выучивал правильно писать, но и выявлял таланты, у кого они были. На уроках логики и риторики Соловьев, заинтересованный предметом, не мог удержаться, чтобы не высказывать вслух своих мыслей. По-

пов не сердился на такое “неприличное” поведение, и беседа выходила очень живой и поучительной. Сочинения Соловьева своими достоинствами выделялись среди прочих ученических работ, хотя он часто уклонялся в сторону, не исполняя заданной темы, – вместо описания памятника Минину и Пожарскому предавался историческим воспоминаниям и пренебрегал риторическими формами, считавшимися тогда обязательными. Попов журил ученика за отступления от риторики, но тем не менее во время одной товарищеской беседы с учителем Красильниковым увлекся до того, что сказал ему: “Ведь Соловьев просто гений!” Красильников возразил на это: “Полно, полно, Павел Михайлович! Как это может быть; положим, что Соловьев – мальчик умный, с большими способностями, но может ли это быть, чтобы у нас в гимназии завелся гений?” Хотя не все относились к Соловьеву с таким восторгом, как Попов, но все учителя признавали в нем большие способности и любили его за отличное учение и примерное поведение. Сергей Михайлович всегда с удовольствием вспоминал о времени, проведенном в гимназии; легко, весело ему было с узлом книг отправляться в школу, зная, что там встретит его ласковый прием; приятно было ему чувствовать, что он значит что-то; приятно было, войдя в класс, направлять шаги к первому месту, остававшемуся всегда за ним.

В 1838 году, восемнадцати лет, Соловьев был выпущен из гимназии первым учеником с обязанностью написать для

акта рассуждение на тему “О необходимости изучения древних языков для успешного изучения языка отечественного”, за которое получил серебряную медаль.

На лето Соловьев поселился в качестве учителя в деревне князя Михаила Николаевича Голицына, сына разорившегося аристократа, малообразованного и развратного помещика. Воспитанием детей занималась княгиня, отличавшаяся нетерпимым характером, – женщина ограниченная, капризная, сварливая. Молодому Соловьеву поручили обучение четырех детей и между прочими Дмитрия, мальчика до безобразия толстого, вялого физически и умственно, в тринадцать лет с трудом читавшего по-русски. В доме Голицыных не говорили иначе как по-французски, с презрением относились ко всему русскому, Соловьева называли Mr. le Russe, и юноша вынужден был доказывать, что он гордится этим прозвищем, что имя русского драгоценно для него, что ему лестно быть единственным русским в целом доме. Аристократическая семья произвела тяжкое впечатление на юношу, воспитанного в совсем другой среде, и осенью он отказался жить в доме Голицыных; но это лето оставило некоторый след в его жизни, – одна крайность вызывает другую, и Соловьев на время ударился в славянофильство или, лучше сказать, русофильство.

Осенью Соловьев поступил в университет на первое отделение философского факультета (теперешний историко-филологический). Ректором был в то время М. Т. Каченовский,

известный историк-скептик, человек очень честный и всеми уважаемый. Читал он уже не русскую историю, как прежде, а славянские наречия, и на этом поприще как по старости лет (ему было 64 года), так и по недостаточному знакомству с предметом не мог оказать большой пользы студентам. Деканом факультета состоял И. И. Давыдов, ученый карьерист, смотревший на науку как на средство выслужиться, получать чины и ордена. Получив Станислава первой степени, он откровенно объявил, что высшие ордена производят удивительное впечатление: он чувствует себя нравственно лучше, выше с тех пор, как награжден звездой. Академик Никитенко говорит о Давыдове в своем дневнике: “Вот человек, который из своего ума, таланта и обширных сведений сделал себе орудие мелкого своекорыстия. Стоило для этого столько трудиться, чтобы в заключение осквернить дары, предназначенные для лучшего употребления! Но такова безнравственность эпохи. Ум и дарование не возвышаются до веры в практическое добро. Как доказательство своей силы они представляют одни итоги нахватанных ими чинов, орденов и денег. Они не веруют ни в какое другое право на уважение общества. Это они называют искусством жить и презирают тех, которым недостает охоты или уменья идти их путем и употреблять свой ум и силы на ловлю житейских благ. Но не вправе ли они и в самом деле считать себя правыми?” Давыдов был несомненно прав, потому что сумел сделать блестящую карьеру и, покинув университет, попал не только в

ординарные академики, но и в председательствующие русским отделением Академии наук. О его приезде в Петербург в 1842 году, когда Соловьев кончал университетский курс, в дневнике академика Никитенко имеется следующее любопытное известие: “Профессор Давыдов в большой милости у Уварова (министра народного просвещения). Он добился этого грубой лестью, которую министр всегда принимает с простодушием ребенка, чему нельзя не удивляться, ибо у него нельзя отнять ума, если не глубокого, то во всяком случае сметливого. Давыдов особенно завоевал его сердце статьей “О Поречье”, деревне Уварова, – статьею до того льстивой, что она насмешила всех в Петербурге, где нравы не так уже наивны, как в Москве. Уваров теперь принял здесь Давыдова с распростертыми объятиями. Недавно он заставил его прочитать по одной лекции в Екатерининском институте и Смольном монастыре, объявив предварительно девицам, что они услышат “русского Вильмена”. Давыдов явился и не произвел ожидаемого эффекта. Особенно не по вкусу пришелся он в Смольном монастыре. Делая там обзор русской литературы, он отказал в поэтическом даре Державину и вовсе не упомянул о Пушкине, разумеется, из желания угодить Уварову, который никак не может забыть “Лукулла”. В заключение Давыдов сказал, что всему в России дает жизнь и направление министерство народного просвещения. И все это в присутствии Уварова, который не покраснел и тогда даже, когда Давыдов торжественно объявил, что если он (Да-

выдов) сказал что-нибудь хорошее, то обязан этим не себе, а присутствию его высокопревосходительства: сам он (Давыдов) только “Мемнонова статуя, возбуждаемая лучезарным солнцем”.

Пресмыкаясь перед сильным, он требовал, чтобы и перед ним пресмыкались ниже его поставленные; людей дрянных, раболепствовавших он возвышал, и напротив, гнал людей порядочных, державших себя самостоятельно. Как декан он покровительствовал сыновьям знатных и сильных, от которых в свою очередь ждал покровительства, и делал это в ущерб бедным студентам.

Давыдов читал студентам историю русской словесности, но не сообщал им ничего нового; курс его был хорошо известен из напечатанных им “Чтений о словесности”. Но так как ему не хотелось повторять самого себя, то он читал вместо двух часов всего час и целый год, что называется, переливал из пустого в порожнее, поэтому студенты называли его курс “Нечто о ничем, или Теория красноречия”. Другим профессором русской словесности был Шевырев, пользовавшийся известностью в свое время, но также не понравившийся Соловьеву, потому что он на своих лекциях увлекался фразерством и риторикой. Шевырев при каждом удобном и неудобном случае говорил в самых напыщенных выражениях о гниении Запада, о превосходстве Востока, русского православного мира и прославлял Россию до такой степени, что лекции его среди студентов были прозваны казенными.

Древним языкам обучали: Оболенский – человек знающий, но бездарный и полусумасшедший, над странными речами которого студенты постоянно смеялись; еще более бездарный Меншиков и немец Гофман, ведший обучение совершенно по-гимназически, занимавшийся исключительно грамматикой, при чтении авторов обращавший внимание не на содержание, а на форму.

В сороковых годах на философском факультете не преподавалась философия, и потому студенты ожидали общих идей и их развития преимущественно от профессоров словесности и истории. Но литература была плохо представлена, и больше всего извлек Соловьев из исторических лекций. На первом курсе читал древнюю историю профессор Крюков, хотя и не самостоятельный, но даровитый ученый, хорошо знавший западную литературу и увлекавшийся Гегелем. Его блестящее и вместе с тем серьезное изложение увлекало слушателей, давало им не только много новых сведений, но и множество новых идей. Среднюю и новую историю читал Грановский, тогда только что начинавший приобретать известность. Лекции его производили на Соловьева такое же обаятельное действие, как и вообще на всех студентов, хотя чисто внешне Грановский читал нехорошо, говорил тихо, требовал напряженного внимания, заикался, глотал слова. Но внешние недостатки исчезали перед внутренними достоинствами речи, перед внутренней теплотой и силой, дававшей жизнь историческим лицам и событиям. Соловьев

сравнивал изложение Грановского с изящной картиной, которая дышит теплотой, где все фигуры как живые действуют перед вами.

“Грановский, – говорит он, – принадлежал к числу тех немногих людей, которых, встретясь с ними раз, нельзя забыть, сошедшись с которыми, тяжело расстаться. Природа одарила его наружностью, какой долго ищут художники: лицо его представляло редкое соединение очертаний мужественной красоты с выражением глубокомыслия и вместе благодушия, сочувствия, которое влекло к нему с неотразимой силой. Теплое и разумное слово его ласкало человека, к которому обращалось, было всегда желанным, дорогим подарком. Грановский был щедр на эти подарки как самый общительный, сочувствующий человек, но с этой щедростью соединялась большая разборчивость. Он принадлежал к числу людей, мнение которых очень дорого ценится, и был судьею строгим при определении нравственного благородства. Такие люди, как Грановский, заставляют многих внутренно охорашиваться; и друзья, и не друзья, прежде чем делать, прежде чем сказать что-нибудь, задавали себе вопрос: “Что скажет об этом Грановский?” Понятно, что с такими нравственными средствами, какими обладал Грановский, влияние его на слушателя было могущественно. Грановский начал свою профессорскую деятельность, когда умы молодого поколения были сильно возбуждены великим стремлением, господствовавшим в исторической науке, – стремлением

уяснить законы, которым подчинены судьбы человечества. Несмотря на непререкаемую важность, благотворность этого стремления, и здесь, как во всяком деле, во всяком стремлении человеческом, можно было дойти до вредной односторонности, которая и действительно обозначилась в исторических сочинениях, важных по своему достоинству и влиянию: имея в виду общие законы развития человечества, рассматривая исторических деятелей, целые поколения и народы только как орудия для достижения известных целей, приобретали жесткость взгляда, теряли сочувствие к поколениям и народам, к их радостям и торжествам, их страданиям и падениям; мало того, приобретали равнодушие, неразборчивость при оценке средств, которыми достигались известные исторические цели, целями оправдывались средства, не могущие быть оправданы на суде нравственном: что нужды, если употреблялись средства не нравственные, лишь бы употреблены были они во имя благодетельных для человечества идей. “Идеи не суть индейские божества, которых возят в торжественных процессиях и которые давят поклонников своих, суеверно бросающихся под их колесницы” – вот слова, раздавшиеся в аудиториях нашего университета с появлением в них Грановского. Грановский всеми силами своей любящей, сочувствующей души, всеми могущественными средствами своего живого, теплого таланта стал противодействовать вредной крайности господствующего направления, и в этом состоит его великая ученая и нравственная

заслуга. Народы и поколения, в преподавании Грановского, являлись не мертвыми цифрами для решения известных исторических задач: они оживали перед слушателями, которые таким образом вводились в общество своих собратий, жили с ними одной жизнью, сочувствовали им, привыкали видеть в историческом человеке существо живое, чувствующее, и потому привыкали осторожнее обходиться с ними в своих чувствах, в своих суждениях. Грановский своим живым, теплым отношением к слушателям всего лучше напоминал учителя древнего мира: преподавание его не ограничивалось лекционными часами, студенты и окончившие университетский курс находили в нем всегда горячую готовность делиться с ними своими громадными сведениями, указывать средства к занятиям и доставлять эти средства из своей превосходно составленной библиотеки. Но что всего важнее было при этих беседах – это живительное впечатление, производимое на молодых людей, вступающих в жизнь, человеком, полным жизни, полным горячего сочувствия ко всем ее вопросам, – человеком, готовым всегда служить своим собратиям и словом, и делом. Отсюда понятна сильная привязанность к нему учеников и всех людей, близко его знавших".

Благотворное влияние Грановского, заставившего Соловьева заняться всеобщей историей и полюбить ее, сказалось впоследствии в главном труде последнего – "История России с древнейших времен". Казалось бы, что Соловьев, избравший своей специальностью русскую историю, должен

был больше всего научиться у того профессора, который посвятил себя той же специальности. На самом деле это было не так. На последних курсах русскую историю читал Погодин, приобретший уже тогда громкую известность и занимавший кафедру пятнадцать лет. Погодин изучал почти исключительно древнейший период русской истории, главные его работы посвящены “варяжскому вопросу”; тем же самым он занимался в университете, и курс его был мало поучителен и еще меньше занимателен. Месяца два посвящал он славянским древностям, которые читал буквально по Шафарику; затем переходил к подробному рассмотрению вопросов о достоверности русских летописей и о происхождении варягов-русичей, то есть сообщал то, что было им изложено в двух его диссертациях. В этом заключалась главная часть его курса, остальное время Погодин посвящал чтению Карамзина, без всяких исторических пояснений, потому что не следил за наукой и не мог делать нужных дополнений по новым источникам. Он приносил с собой Карамзина и превращал лекцию истории в лекцию риторики, выбирая преимущественно красивые места. Погодин читал с восторгом описание Тамерлановых подвигов и требовал от слушателей, чтобы они также восторгались этим описанием, затем обращал внимание студентов на необыкновенное искусство, с которым Карамзин переходит от рассказа об одном событии к рассказу о другом. Главная его цель была при этом убедить слушателей, что русская история интересна, что она не ху-

же какой-нибудь другой, французской или английской. Погодин останавливался там же, где остановился Карамзин, то есть на 1612 годе. Таким образом, из его лекций слушатели могли основательно познакомиться только с “варяжским вопросом” да с некоторыми местами из “Истории государства Российского”, которые легко было прочесть и без профессора; по книгам в то время нельзя было изучить русскую историю после Смутного времени, и этот существенный пробел не восполнялся курсом Погодина.

Значительная часть лекций посвящалась разговорам со студентами, и такие беседы могли бы быть очень полезны, если бы имели другой характер. Но Погодин ограничивался указаниями на то, *чем* следует заниматься, мог изложить историю сословий, историю отдельных княжеств и т. п., но самого главного, что требуется от профессора, он не говорил, – *как* заниматься, *как* работать над источниками. Он жаловался, что молодые люди самолюбивы, не хотят бескорыстно трудиться на стариков. “Ведь вот никто из них не пойдет к старому ученому дрова пилить”,– выражался Погодин со свойственной ему откровенностью, разумея под этим, что никто не соглашается подыскивать ему нужные места в источниках, вообще заниматься подготовительной работой, которой он, Погодин, мог бы воспользоваться, сберегая таким образом свои силы и время.

Подобные беседы только смешили студентов и возбуждали антипатию к профессору. Университетская молодежь и

так не питала к Погодину никакого уважения, он пользовался репутацией грубого до цинизма, самолюбивого и корыстолюбивого человека, – таким он и был на самом деле – умный и плутоватый мужик, по выражению академика Никитенко.

Понятно, что при таком составе профессоров наиболее плодотворным для Соловьева было занятие всеобщей историей. В то время в ней господствовало философское направление, и увлечение Гегелем было так сильно, что студенты постоянно выражались гегелевскими терминами. Это направление было полезно в том отношении, что заставляло студентов думать, не ограничиваться фактами, но делать широкие обобщения. Философия истории Гегеля произвела такое сильное впечатление на Соловьева, что он, правда на короткое время, увлекся протестантским учением и собирался сделаться философом и разрабатывать религиозные вопросы. Но скоро любовь к истории взяла верх, и Соловьев погрузился в чтение исторических книг, преимущественно европейских ученых – Гиббона, Вико, Сисмонди. На последнем курсе он больше всего занимался русской историей, самостоятельно работал с источниками, так как наша литература того времени отличалась бедностью. Кроме Карамзина, читать было почти нечего; Карамзина он изучил еще в гимназии, да притом этот историк не удовлетворял даже студентов. Из сочинений по русской истории самое большее впечатление произвело на Соловьева “Древнейшее право руссов” Эверса, где он нашел указание на родовой быт у славян,

чем впоследствии воспользовался в создании своей теории.

Погодин обратил внимание на Соловьева, когда тот подал ему сочинение о первых веках русской истории, в котором опровергнул несколько положений профессора. Однажды с кафедры он обратился с таким воззванием: “Господин Соловьев, зайдите как-нибудь ко мне!” Студент, конечно, отозвался на такое любезное приглашение наставника и стал ходить к нему в гости, но не часто, потому что приглашение получил уже во втором полугодии, перед окончанием курса. Погодин любезно принимал Соловьева, предоставил ему возможность пользоваться своим знаменитым древлехранилищем, богатым рукописями, которое, кстати сказать, он впоследствии продал публичной библиотеке за сто пятьдесят тысяч рублей. Но работы своего слушателя Погодин так и не разобрал и ограничился замечанием: “Я хотел было с вами потолковать о вашем сочинении, но куда-то его запрятал, так что отыскать не могу”.

В то же время Соловьев подал Крюкову сочинение по египетской истории, и работа эта так понравилась профессору, что он однажды громко объявил в присутствии других студентов: “Господин Соловьев, я ношу ваше сочинение в кармане, не могу с ним расстаться!” На этом основании Крюков довольно настойчиво предлагал Соловьеву заняться древностями, но последний отказался, так как не чувствовал влечения к латинской грамматике и вообще филологии, изучение которой сопряжено было с изучением древней истории.

Соловьев окончательно решился посвятить себя русской истории.

Выпускные экзамены Соловьев сдал, как всегда, блистательно и получил одобрение даже Погодина. Обращаясь к начальству, присутствовавшему на экзамене, профессор сказал: “Рекомендую господина Соловьева, это – лучший студент курса по русской истории, один из лучших во всё продолжение моей профессорской службы; не скажу – лучший из всех: были прежде и другие такие же”.

ГЛАВА II

Заграничное путешествие. – Магистерский экзамен. – Диссертации на степень магистра и доктора истории. – Профессорская деятельность

В то время, когда Соловьев находился в старших классах гимназии и потом в университете, попечителем Московского учебного округа был граф Сергей Григорьевич Строганов. Он уважал науку, любил литературу и выше всего ставил в человеке талант, трудолюбие, честность, прямоту, благородство и строгое исполнение своих обязанностей. Он не любил давать места по протекции, и прийти к Строганову с рекомендательным письмом от знатной дамы или знатного господина значило навсегда погубить себя в его мнении и никогда не получить места. Он доверял людям хотя и незнатным, но знающим и понимающим. К Строганову нельзя было подольститься, ему можно было понравиться исключительно личными достоинствами и усердным исполнением своих обязанностей. Своим подчиненным он позволял высказывать свои мнения совершенно откровенно и спорить сколько угодно. Одного из чиновников, служивших под его началом, Строганов хвалил таким образом: “Что это за человек! Бывало, начну с ним говорить, спорить, указывать ему – не даст слова выговорить! Прекрасный, честный человек,

крепкий в своих убеждениях!”

“После двухлетнего гнета под ферулою Д. П. Голохвастова (помощника попечителя), – рассказывает Буслаев в своих воспоминаниях, – мы, студенты 1834 года, могли вполне оценить и радостно почувствовать на себе самих благотворную силу обновления во всем строе университетской жизни. Предшественник графа Строганова, князь Сергей Михайлович Голицын, знаменитый первый вельможа в Москве, был человек решительно добрый и благотворительный, но – странное дело – ровно ничего для университета не делал, а вполне предоставлял Голохвастову делать все что угодно. Он даже вовсе и не любил университета и при нас в течение двух лет ни разу не был в аудиториях на лекции; только однажды посетил он нашу казенную столовую во время обеда, прошелся взад и вперед между столами и закинув голову смотрел по верхам в потолок, на студентов же вовсе ни на кого и не взглянул. Граф же Строганов чуть не каждый день посещал лекции профессоров и внимательно слушал каждую с начала до конца, никогда не оскорбляя профессора преждевременным выходом из аудитории, а во время переходных и выпускных экзаменов любил знакомиться с успехами и способностями экзаменующихся студентов и с особенным вниманием и участием следил за теми из них, которые были уже у него на примете по дарованиям и прилежанию” (“Вестник Европы”, 1890, № 12).

Строганов застал в университете множество профессоров

бездарных, отсталых, с нелепыми выходками и привычками, подвергавшихся вследствие этого насмешкам студентов. Молодых людей, в которых попечитель усматривал особенное дарование и трудолюбие, он отправлял учиться за границу и таким образом обновил Московский университет. К этим молодым ученым принадлежали наиболее видные представители сороковых годов: Грановский, Крюков, Кавелин, Буслаев. Погодина же, Шевырева и Давыдова Строганов не любил за их нравственную неопрятность, но терпел в университете, потому что заменить их было некем: для изучения русской истории и словесности молодежь не посылали за границу. Пользуясь враждою между попечителем и министром народного просвещения Уваровым, Погодин, Шевырев и компания старались заручиться покровительством министра, и старания их увенчались успехом.

Соловьева Строганов заметил еще в гимназии и в университете начал покровительствовать ему, предугадав, что этим талантливым юношей в будущем можно будет заместить неприятного ему Погодина.

Отвергнув предложение Крюкова и занявшись преимущественно русской историей, Соловьев не имел никакой надежды быть посланным за границу на казенный счет. Между тем он считал для себя очень важным поучиться у европейских профессоров, но не мог сделать это на свои средства. Поэтому он очень обрадовался, когда по рекомендации попечителя получил предложение занять место домашнего учителя в

доме его брата, графа Александра Григорьевича Строганова, проживавшего тогда за границей.

Летом 1842 года Соловьев отправился в Теплиц, где находились Строгановы, но по дороге остановился на короткое время в Берлине и прослушал здесь несколько лекций знаменитых ученых: философа Шеллинга, великолепного старца с орлиным взглядом, производившего большое впечатление торжественностью своей речи; церковного историка Неандера, пользовавшегося громкой известностью; патриарха новой истории Ранке, а также Раумера, географа Риттера. Соловьеву необходимо было спешить в Теплиц, и несколько берлинских лекций не могли принести ему большой пользы: он прослушал их из любопытства, желая посмотреть на знаменитых людей.

В Теплице Соловьев познакомился с семейством Строгановых, в котором ему пришлось прожить больше года и которое ему не понравилось. По рождению, воспитанию и образованию у него не было ничего общего с графом Александром Григорьевичем, опальным министром внутренних дел, и легкомысленной графиней, увлекавшейся католицизмом и иезуитами. Но хотя Соловьев и не мог сдружиться со Строгановыми, жизнью своей он был вполне доволен, потому что пользовался большой свободой. Из Теплица Строгановы после приезда нового учителя переехали в Париж, и здесь Соловьеву приходилось только учить двенадцатилетнего графа Виктора Александровича, при котором состоял француз-гу-

вернер. Занятия проходили по утрам, не более трех часов в день, и затем Соловьев мог делать все что ему было угодно. Позавтракав, он отправлялся в Королевскую (теперешнюю Национальную) библиотеку, работал там до трех часов, потом возвращался домой, писал до обеда, то есть до шести часов, а вечером читал новые книги и журналы. Не имея возможности работать над русской историей по недостатку книг, он занимался всеобщей историей, преимущественно славянской. Уже тогда в голове Соловьева зарождались общие исторические теории, касавшиеся жизни всех народов; он задумывал сочинение, в котором хотел объяснить главнейшие явления в истории человечества отношением дружины к родовой общине, антагонизмом между замкнутым родом и выделившейся из него группой людей. С этой целью он изучал историю древних и новых народов, семитические племена и славяне являлись, казалось ему, представителями родового начала, а греки – представителями дружинного; в борьбе патрициев и плебеев он видел борьбу родового и дружинного начал. Соловьев осуществил свое желание гораздо позднее, уже незадолго до смерти, когда написал свои статьи под названием “Наблюдения над исторической жизнью народов”; но достойно внимания, что в нем уже в юные годы проявлялась склонность к широким обобщениям, – он не мог ограничиться разработкою специальных вопросов, и в этом нельзя не видеть влияния Грановского.

По воскресеньям Соловьев отдыхал, всегда ходил в рус-

скую церковь, после обедни отправлялся вместе с Сажиным, гувернером князя Гагарина, осматривать Париж, обедал в ресторане, вечером посещал театры, смотрел знаменитую Рашель, предпочитая, впрочем, комическую оперу и водевиль, где можно было посмеяться.

Соловьев не ограничивался занятиями в библиотеке, но посещал также университетские курсы в Сорбонне и Collige de France, на которые по французскому обычаю допускалась любознательная публика. Французское преподавание и парижские профессора не понравились Соловьеву. Вот что писал он в своей статье о Парижском университете:

“Характер французского народа, живой и нетерпеливый, требующий непосредственного применения деятельности умственной к деятельности практической, расторг преграду, отделяющую в других государствах университет от общества. Подобно картинным галереям, публичным библиотекам, университетские аудитории открыты для всех; толпа хлынула в святилище: что же? освятилась ли толпа или осквернила святилище? Увидим. С одной стороны, университетское преподавание выиграло от тесного сближения с обществом: профессор, имея в виду не малое число избранных посвященных, но сонм людей всех состояний, начал заботиться о доступности своего изложения для каждого слушателя; отсюда ясность речи, доведенная до высшей степени: французский профессор кокетничает этим качеством, умением находить способы объяснения один другого легче,

один другого явственнее; часто он составляет целый ряд объяснений, поражая слушателей возможностью найти еще легчайшее истолкование предмета, уже и без того удовлетворительно уясненного. Кроме того, являясь перед многочисленное собрание, профессор почитает обязанностью дать своей скромной музе блестящий наряд: отсюда речь его обработанна, звучна, блестяща. Легко можно понять, какую огромную пользу получает оттого язык, над которым со тщанием трудится многочисленное сословие мыслителей: каждый профессор исполняет обязанность члена Французской академии и не будучи включен в заветное число сорока. В то же время слух присутствующих приучается к правильности, налаживается на гармонию; надо видеть, до какой афинской тонкости дошли парижане в отношении к языку: каждое счастливое выражение, каждое гармонически составленное предложение замечено и награждено рукоплесканиями. Но этим и ограничиваются выгоды тесного сближения университета с обществом. Встретившись с обществом лицом к лицу, университет удержал ли за собою первенство положения? Нет, он уступил, преклонился, поддался! Отсюда ряд оскорбительных, унизительных явлений. Лекция для парижан занимает место утреннего спектакля. Туда идут, чтобы без скуки провести время, узнать вскользь что-нибудь занимательное, а больше всего удовлетворить своей народной страсти – послушать хорошего оратора. Не заботятся о содержании, лишь бы было хорошо рассказано; не говорят о том, что го-

ворит профессор, но с восхищением повторяют несколько сильных или звучных фраз. Что же профессора? Стараются ли удержать, обуздать такое ложное направление, дать народному характеру более степенности, образовать по возможности из этого пылкого, вечно молодого народа народ более сознательный и отчетливый, внушая ему более уважения к вещам важным, показывая, что цель науки – научать, а не забавлять, и что народ, требующий картинок к учебнику, тем самым сознается в своем младенчестве? Нет, я уже сказал, что университет не удержал своего высокого характера. Профессор есть покорный слуга слушателей, он хочет снискать их благосклонность; громкие рукоплескания – существенная его цель, средства к ее достижению для него – дело второстепенное. Эти средства обыкновенно суть: отделать как можно тщательнее внешнюю часть речи, чтобы не утомить внимания слушателей, разжидить как можно более содержание, опуская подробности; чтобы и тут содержание не показалось слишком серьезным, развести его достаточным количеством острот, напоследок сосредоточить весь интерес к концу, к части патетической, чтобы последние слова были заглушены рукоплесканиями. Если сухость содержания не допускает патетической части, то оратор привязывается к отдельной мысли, не находящейся в большой связи с главным, часто воспламеняется одним словом и приделывает патетическую часть; так, например, дело идет об этрусках: какую занимательность может найти парижанин в этрус-

ской истории, когда в палате рассуждается об испанских делах или о свекловичном сахаре? В таком случае профессор говорит, что этруски погибли, потому что не шли путем, по которому теперь идет Франция, а Франция и свобода – это такие два слова, которые необходимо должны заслужить рукоплескания, хотя бы даже в этрусской истории. Впрочем, беспрестанные намеки на Францию и ее настоящее состояние не заслуживали бы никакого упрека, потому что каждый профессор должен иметь всегда в виду отечество и народность, и приложение уроков прошедшего к настоящему состоянию государства было бы всегда прилично, если бы в подобном приложении видна была одна пламенная любовь к отчизне; к сожалению, легко усмотреть, что священное слово "родина" в устах большей части профессоров служит только средством к возбуждению участия и рукоплесканий, к раздражению, а не к назиданию толпы, и вот почему для чужеземца, приходящего с другими понятиями, подобное повторение кажется утомительным и недостойным" ("Москвитянин", 1843, № 8).

Как в публичном преподавании Соловьев не хотел видеть хорошей стороны, так и к французским профессорам он относился отрицательно, отчасти потому, что в то время увлекался ложным патриотизмом и заразился несколько славянофильским духом. Из известных в то время историков Соловьев слушал Мишле и Ленормана, но обоими остался неудовлетворен.

Гораздо снисходительнее Соловьев относился к филологам и профессорам литературы. С.-Марка Жирардена он слушал с наслаждением и вполне оценил его глубокий критический ум.

“Кине, – говорит он, – избравший предметом своего курса историю древней немецкой, итальянской и испанской литературы, не заботясь ни о рукоплесканиях, ни о количестве слушателей, никогда не унижает своего достоинства мерами противозаконными на кафедре; лекция его всегда обилует содержанием, речь его проста, безыскусственна”.

Лето 1843 года Строгановы собирались провести на богемских водах, а так как для Соловьева не хватило места в их карете, он отправился туда один и, воспользовавшись случаем, осмотрел по дороге Страсбург, Штутгарт, Мюнхен и Регенсбург. Приехав в Карлсбад, он узнал, что Строгановы будут еще нескоро, и поехал в Прагу, где познакомился с известными славянскими учеными Ганкой, Палацким и Шафариком, а также с кружком властенцов (патриотов), мечтавших об освобождении Чехии из-под власти Австрии. Этот кружок молодых людей, добродушных и нравственно чистых, служивших идее и живших исключительно мечтой, хотя они и отличались наивностью, произвел очень приятное впечатление на Соловьева. Так, например, один властенец-гравер показывал с восторгом свою только что оконченную работу: здесь был изображен орел, которого ухватил за шею лев. Лев – это символ Чехии, которого властенцы про-

тивопоставляли орлу, изображенному на австрийском гербе.

Зиму 1843/44 года Соловьев вновь прожил в Париже у Строгановых, часть следующего лета провел в Гейдельберге, где слушал лекции историков Рау и Шлоссера; а конец лета – опять у Строгановых на богемских водах; осенью 1844 года он возвратился в Москву, где надеялся получить кафедру.

Во все время своего заграничного путешествия Соловьев не прекращал переписки со своим учителем Погодиным. Веря в расположение московского профессора, он сообщал ему о ходе своих занятий и даже обращался к нему за советом. Весной 1844 года Строгановы уговаривали Соловьева остаться у них еще на год, но он находил это для себя бесполезным, потому что за границей невозможно было заниматься русской историей, а ему хотелось поскорее выдержать экзамен на магистра и получить кафедру. Поэтому он написал Погодину с просьбою сообщить, что происходит в Московском университете и на что он может рассчитывать. Ответ не заставил себя ждать, но отличался двусмысленностью. Погодин горячо благодарил Соловьева за оказанное ему доверие, к чему он очевидно не привык, сообщал, что он оставил кафедру, думает ехать в Швецию заниматься “варяжским” периодом, в Южную Сибирь – для занятия “монгольским” периодом; что, с одной стороны, Соловьеву нужно было бы возвратиться в Россию для занятия русской историей, но, с другой стороны, пожить подольше за границей было бы ему также очень полезно, что во всяком случае он может рас-

считывать на место адъюнкта при университете. Письмо это удивило Соловьева своей странностью, потому что он в то время еще не понял характера Погодина и не знал, что делалось в Москве.

Авторитет Погодина сильно пошатнулся в сороковых годах, попечитель не благоволил к нему, и, следуя своему грубому и неуживчивому характеру, он находился во вражде с молодыми профессорами, так называемыми западниками. Погодин был столько же публицистом, сколько ученым: он издавал журнал “Москвитянин”, орган православно-русского направления, по выражению его биографа г-на Барсукова. Каково было это направление, видно из одной редакционной статьи, написанной Погодиным. “Благоговение пред русской историей до Петра I, воздание должной чести Москве, осуждение безусловного поклонения Западу, сознание национального достоинства, уверенность в великом предназначении русского народа не только в политическом смысле, но и в человеческом, уверенность в величайших дарах духовных, коими наделен русский человек для подвигов на поприще наук и литературы, сочувствие к племенам славянским, их истории, литературе и судьбе, непримиримая, открытая вражда к противоположному направлению – вот в кратких словах программа “Москвитянина”. Крайнее направление этого журнала удивляло даже таких умеренных людей, каким был цензор и академик А. В. Никитенко. “Читал между прочим “Москвитянина”,– пишет он в своем дневнике. –

Чудаки эти москвичи, ругают Запад на чем свет стоит. Запад умирает, уже умер и гниет. В России только и можно жить и учиться чему-нибудь. Это страна благополучия и великих убеждений. Если это искренно, то москвичи – самые отчаянные систематики. Они отнимают у Бога тайны его предначертаний и решают по-своему жизнь и упадок царств. Они похожи на школьников, которые считают себя всемирными мудрецами, все знают и все могут. Они действительно являются выражением нашей младенчествующей самостоятельности".

Понятно, что такое направление пришлось не по сердцу молодым профессорам, гордившимся своим европейским образованием, не нравились им и грубые манеры Погодина. Последний не стеснялся, называл молодых профессоров немцами, громогласно говорил, что онемеченный русский гораздо хуже, вреднее для России, чем немец, что от посылки русских ученых за границу происходит страшное зло для университетов. Погодин доходил до того, что западников, и среди них людей весьма почтенных, называл подлецами и негодяями. Вражда разгорелась особенно сильно в конце 1843 года, когда глава западников Грановский открыл в университете публичный курс по истории средних веков и его талантливые лекции снискали большой успех у публики. Герцен приходил от них в восторг. "Какой благородный, прекрасный язык, – пишет он в своем дневнике, – потому именно, что выражает благородные и прекрасные мысли. Я

очень доволен. Его лекции – в самом деле событие. И как современны они, какой камень в голову узким националистам!” А Погодин занес в свой дневник следующие несправедливые слова: “Был на лекции у Грановского. Такая посредственность, что из рук вон, это – не профессор, а немецкий студент, который начитался французских газет. Сколько пропусков, какие противоречия… России как будто в истории и не бывало. Ай, ай, ай! А я считал его еще талантливее других…”

Хотя “Москвитянин” старался уничтожить Грановского и западников, они все-таки были в большинстве, пользовались покровительством попечителя и симпатиями студенчества. Поэтому Погодин подал в феврале 1844 года прошение об отставке из-за расстроенного здоровья, но при этом заявил Строганову, что если здоровье его в продолжение одного или двух лет восстановится, то он почтет священной своей обязанностью поступить вновь в преподаватели университета, если это угодно будет начальству. Погодин надеялся, что министр попросит его отдохнуть и не оставлять университета, но, вопреки его надеждам, отставка была принята, и профессор негодовал на самого себя за такой неосмотрительный шаг. В его позднейших воспоминаниях находятся следующие откровенные слова: “Года через два я думал опять вступить в университет с более укрепленными силами и по собственной просьбе начальства, что было бы для меня гораздо крепче, а теперешние неудовольствия могли, пред-

ставлялось мне, кончиться по какому-нибудь случаю увольнением даже без пенсии, которую мне хотелось, так сказать, застраховать, пока министром был Уваров, мне благожелавший. Опасение и намерение неосновательные; я был уверен также, что через два года обратятся ко мне с просьбою, потому что нельзя же оставлять университет без русской истории, и в том, как оказалось, я ошибся жестоко. Вообще, этот шаг должен я считать теперь совершенно опрометчивым и имевшим вредное влияние на гражданскую внешнюю мою жизнь".

В преемники по кафедре Погодин наметил себе молодых ученых менее талантливых, чем Соловьев, и притом таких, которые не намеривались посвятить себя исключительно русской истории. Одним из этих кандидатов был Григорьев, занимавший кафедру восточных языков в Ришельевском лицее в Одессе. В то время когда Соловьев проводил вторую зиму в Париже и рассчитывал на благорасположение своего профессора, Погодин убеждал Григорьева сделаться его преемником. Григорьев вполне сознавал, что он не подготовлен для этой кафедры и решительно отказывался; Погодин долго убеждал его. "Приготовляйтесь к лекциям со дня на день, – писал Погодин Григорьеву. – Попечитель остановился теперь на Соловьеве, кандидате, который должен воротиться из путешествия; малый он хороший, с душою, но, кажется, слишком молод".

В ответе на это письмо читаем следующие удивительные

строки: “Если в Соловьеве один недостаток – молодость, так беда невелика; по-моему: молод да умен – два угодья в нем. Беда не в молодости его, а, как я слышал, в том, что рано он хитрить начал и не годится для кафедры русской истории не по уму и не по сведениям, а по недостатку нравственного достоинства, но этого Строганов не понимает”. Все знавшие Соловьева единогласно подтвердят, что скорее у него можно было отнять ум и талант, чем нравственное достоинство. От кого Григорьев слышал подобную клевету? Он не знал Соловьева лично, потому что с 1838 года находился в Одессе. Не шла ли эта клевета из Москвы?

По возвращении из-за границы Соловьев очутился в довольно неловком положении. Статья его о Парижском университете, выдержки из которой я привел выше, пришлась по вкусу Погодину и была напечатана им в “Москвитянине”, но именно по этой причине не могла понравиться западникам. Неприятно действовало отрицательное отношение к Парижскому университету, а так как Соловьев ничего другого не печатал о своем заграничном путешествии, можно было думать, что он вообще относится пренебрежительно к европейской науке, чего на самом деле не было. Упомянутая статья написана действительно в узконациональном духе. Она начинается такими словами:

“Для каждого путешественника-наблюдателя первым предметом любопытства в государстве, среди которого гостит он, должно быть народное образование, закончание ко-

торого сосредоточивается обыкновенно в высших учебных заведениях, в университетах. Если человек родится в свет грубым материалом, которому семейство должно сообщить человечественную форму, то университет обязан дать ему форму гражданскую, образование гражданина в настоящем, полном значении этого слова, и стыд тому семейству, из которого молодой человек выходит без наследия, без имени отеческого, заклейменный печатью чуженародности в поступках, мыслях и словах; такой сын должен считаться незаконным в высшем, гражданском смысле. Но еще несчастному юноше остается средство спасения: он может быть усыновлен отечеством чрез университет; но он погибает окончательно, если и здесь встречает чуждое направление, – и стыд и горе такому университету!"

Статья кончается совершенно в тоне "Москвитянина".

"Никогда, – говорит Соловьев, – полное удовлетворение не было моим уделом после лекции Ленормана; никогда не мог я освободиться от чувства какого-то недостатка, пустоты, даже неприличия; мне было грустно, мне было стыдно за Ленормана, и – странное дело – эта грусть, этот стыд увеличивались в той мере, в какой увеличивалось *мое* уважение к оратору. Русские поймут подобное состояние духа, оно дало мне знать, что я принадлежу к семье того великого народа, высокой природе которого суждено представить совершенство природы человеческой: я разумею гармоническое сочетание ума и чувства. Вот почему не по нас сухое препода-

вание немецкое, вот почему не может удовлетворить нас одна восторженная импровизация французов; для нас здесь не существует выбора, – оба направления, взятые порознь, нам чужды, противны естеству, не народны. И особенно теперь, в эту торжественную эпоху, когда с развитием народного самопознания явилась сильная потребность знания, когда общество стремится сблизиться с университетом, хочет заключить с ним святой союз для дружного, братского прохождения своего великого поприща: теперь-то всего более надобно говорить по-русски. И высокая мудрость правительства, всегда сочувствующая нашим потребностям, призывает таланты в великом деле народного оглашения (позволением читать публичные лекции даже и не членам университета). Да откликнутся же на этот призыв мужи науки, в сердце которых горит святое пламя отчизнолюбия, и да заговорят с нашим обществом речью русскою, умной и вместе теплой. Но прежде пусть взвесят собственные силы и уразумеют всю великость своего назначения. Да страшатся унизить науку потворством обществу: русское общество накажет презрением человека, осмелившегося предложить ему забаву вместо назидания. Да страшатся представить обществу мертвую книгу вместо человека живого и любящего: русское горячее сердце требует голоса сердечного, на русской почве мысль без чувства беспотомственна. Но да остерегаются также раздражать сердце без удовлетворения уму: русско-ясный, здравый ум поймет недостаток, и сердце откажется внимать челове-

ку, пренебрегшему его привычным сопутником. Более всего да боятся предстать пред общество неприготовленными, да боятся искушать вдохновение! Но если труд добросовестный и вдохновение сопровождали ученого при его занятиях, то пусть смело идет он представить обществу плоды этих занятий. Великий поэт и патриот Италии в дивной своей поэме превосходно изобразил силу речи народной, представив мертвеца, восстающего из гроба при звуке родного языка. Но если мертвецы откликаются на родную речь, то как же откликнется на нее народ, который Провидение благословило жизнью полной, совершенной".

По поводу этой статьи Соловьев писал Погодину из-за границы:

"Человек, кажущийся Вам хорошо ко мне расположенным, писал, что-де статья моя о Парижском университете хороша, но окончание-де слишком похоже на фразы "Москвитянина "! Вот что готовится моей русской душе в России! То, чем единственно горжусь я, то, почему единственно считаю себя чем-нибудь, называют фразами! Скажите мне, господа цивилизованные европейцы, почему вы, замечая с таким тщанием все полезное и бесполезное на Западе, до сих пор не заметите одно – того, что здесь каждый народ гордится своей народностью, любит и хвалит ее; отчего одни русские лишены права делать то же? Кто из нас более европейцы, – вы ли, которые разнитесь с ними в самом существенном, или мы, подражающие им в этом? Вы, приезжая из Па-

рижа, хотите тотчас похвастаться глубокомысленным суждением о Тьере и Гизо, новым фраком и цепочкою; зачем вы не хотите позволить и нам также показать парижский тон, ставя свое и своих выше всего на свете, как то водится в парижском обществе? Нет, милостивые государи, вы не убедите меня, что я рискую возвратиться из Европы с варварскими понятиями и квасным патриотизмом; у меня есть доказательство моего европеизма: когда я говорю с европейцем, хвалю, защищаю Россию, то он понимает меня, находит это естественным, ибо сам поступает так же в отношении к своему отечеству, но вас, позорящих отчизну, вас не понимает он, считает уродами, презирает".

Соловьев увлекался русофильством главным образом потому, что в высших сферах, с которыми пришлось ему столкнуться в ту пору, когда он далеко еще не созрел, господствовала галломания и слишком большое презрение ко всему русскому. Профессора-западники косо смотрели на него, потому что считали его славянофилом, последователем Погодина, и, отделавшись от последнего, не желали вступления в университет подобного же профессора. О Соловьеве они судили по его статье, не зная, что он вовсе не такой славянофил, как они думали, потому что он ни к кому из них не ходил, ни перед кем не заискивал. Он сидел у себя дома, стараясь как можно лучше подготовиться к магистерскому экзамену и написать поскорее диссертацию. Кроме истории всеобщей и русской, географии древней и новой, приходилось

экзаменоваться в политической экономии и статистике. Поэтому Соловьев зашел к профессору Чивилеву, читавшему политическую экономию, желая сообщить ему, что главная его цель – показать свою способность занять кафедру русской истории, для чего будет служить диссертация, а чтобы написать хорошую диссертацию, надо употребить на нее все время, а не тратить его на предметы второстепенные. Соловьев желал, как это обыкновенно делалось и делается до сих пор, чтобы профессор указал ему те вопросы, на которые ему придется отвечать. Но Чивилев, принадлежавший к партии западников, принял его очень сухо и, когда он спросил, что ему нужно приготовить к экзамену, отвечал, что, если он прочтет все книги по политической экономии и статистике, рекомендованные им на лекциях, этого будет достаточно. Само собою разумеется, что такая задача была непосильна для историка и подобное требование уместно было бы предъявлять только специалисту, посвятившему себя экономическим наукам.

Западники были настроены против Соловьева, но в то же время славянофилы не поддерживали его, и он не искал их покровительства. К тому же в университете был в то время один только славянофил Шевырев, не пользовавшийся уважением товарищей. Шевырев вместе с Погодиным интриговал, чтобы последнего упросили занять вновь только что оставленную кафедру. Соловьев зашел как-то к декану Давыдову, чтобы поговорить с ним о предстоящем экзамене.

Давыдов с нахмуренным лицом вдруг спросил его:

– Что же это значит? Михаил Петрович Погодин хочет опять войти в университет, ведь мы имели вас в виду.

Давыдов не любил Погодина как своего соперника, так как они оба обхаживали министра Уварова и выпрашивали у него всякие милости. Вопрос декана очень озадачил Соловьева, и он ответил, что ничего не знает, что это дело университета. Давыдов заподозрил его в неискренности, и таким образом в университетских кружках зародилось ни на чем не основанное подозрение, будто Соловьев находится в сговоре с Погодиным, и последний намерен вернуться на кафедру вместе со своим учеником.

Между тем отношения между Погодиным и Соловьевым совсем не были настолько близки и едва ли их можно было назвать дружественными. Погодин не скрывал, что сожалеет о своей отставке. “Вот и Шафарик пишет, – говорил он, – зачем я так рано оставил университет”, но о своих планах он ничего не сообщал. Одна выходка даже сразу отшатнула ученика от учителя, в расположение которого ему все еще хотелось верить.

– Что же вы пишете диссертацию, – обратился Погодин к Соловьеву, – а со мной никогда о ней не поговорите, не посоветуетесь?

– Я не нахожу приличным советоваться, – ответил Соловьев, – потому что, хорошо ли, дурно ли напишу я диссертацию, она будет моя, а стану советоваться с вами и следовать

вашим советам, то она не будет вполне моя.

– Что же за беда, – возразил Погодин, – мы так и скажем, что диссертация написана под моим руководством.

Следствием всех этих обстоятельств, борьбы западников со славянофилами, подозрения, что Соловьев принадлежит к партии Погодина, недоброжелательства самого Погодина, было то, что Соловьев выдержал экзамен гораздо хуже, чем этого можно было ожидать, судя по его способностям и громадному трудолюбию. Экзамены на магистра не имеют точной программы, требуется главным образом знание литературы по предмету, а это понятие очень растяжимое: от мнения профессора зависит, знакомство с какими именно сочинениями следует считать обязательным. Притом история – наука такая обширная, что молодые ученые не в состоянии охватить весь материал целиком и обыкновенно ограничиваются изучением той или иной страны, той или иной эпохи. Экзамен на ученую степень может быть очень труден или очень легок, – для Соловьева он был преисполнен всяческих затруднений, потому что после неудачной беседы с Чивилевым он не обращался уже к профессорам с просьбою наметить ему определенные вопросы.

Экзамены начались со всеобщей истории в январе 1845 года. Грановский задал Соловьеву три вопроса: один – по истории Франции о первых Капетингах; другой – по истории Испании; третий – о сравнении русской летописи с западной. Нелегко было ответить на все эти вопросы без приготовле-

ния, не зная, что они будут заданы, но Соловьеву помогли его заграничные занятия, его обширное знакомство со всеобщей историей. Грановский написал на экзаменационном листе, что Соловьев обнаружил большую начитанность, но что он затрудняется в изложении, – это был намек на то, что он неспособен занимать кафедру.

Второй экзамен по русской истории был менее удачен. За неимением специалиста в университете, пригласили Погодина. Он задал экзаменующемуся удивительный вопрос: изложить историю отношений России с Польшей с древнейших до последних времен. На такой вопрос ни сам Погодин, ни кто другой не мог бы ответить удовлетворительно по той простой причине, что в то время как история Польши, так и новая русская история после вступления на престол Михаила Федоровича оставались совершенно неразработанными. Чтобы выдержать подобный экзамен, нужно было много лет просидеть в архивах и изучить нигде не напечатанные документы, что впоследствии и сделал Соловьев, но в 1845 году не было книг, по которым можно было бы уяснить себе отношения России с Польшей за целых девятьсот лет. Соловьев старался уклониться в сторону, показать свое знание собственно русской истории; Погодин останавливал его, требуя, чтобы он говорил только об отношениях с Польшей. Понятно, что присутствовавшие профессора остались недовольны и заявили, что ответ – гимназический, а не такой, как требуется от магистра, и что из такого ответа не видно,

может ли экзаменующийся занять профессорскую кафедру.

Еще неудачнее прошел экзамен по политической экономии вследствие того, что Соловьев не успел подробно заняться этой наукой, а также вследствие недоброжелательства профессора Чивилева.

Единственный человек, который продолжал хорошо относиться к Соловьеву, был попечитель, граф Строганов. К нему-то и отправился Соловьев и, сообщив про неудачный экзамен, прямо объяснил ему, что он считал нелепым заниматься подробным изучением статистики и политической экономии вместо того, чтобы писать диссертацию, которая должна показать его права на кафедру; что же касается до странного вопроса по русской истории, он в этом не виноват. Строганов понял, в чем дело, и, убедившись, что во всем виновата погодинская интрига, к которой Соловьев непричастен, ободрил молодого человека и дал ему понять, что участь его будет зависеть от диссертации, а не от экзамена.

Первоначально Соловьев собирался написать книгу об Иоанне III, но, занявшись Новгородом, он заметил, что для уяснения решающих судеб этого города и уничтожения его вольности необходимо проследить отношения Новгорода с великими князьями, и поэтому он написал диссертацию “Об отношениях Новгорода к великим князьям”. В начале Великого поста Соловьев подал диссертацию декану, а тот препроводил ее Погодину, который должен был дать о ней отзыв, так как на факультете не было компетентного лица.

Прошло около двух месяцев, Соловьев ничего не знал об участи, ожидающей его работу; жизнь он вел одинокую и чуждался профессорских кружков, где о нем имели не слишком лестное мнение. В четверг на Страстной, гуляя по Арбату, он встретился с Грановским и Кавелиным. Грановский с насмешливой улыбкой спросил Соловьева:

– Что же ваша диссертация?

Соловьев удивился такому вопросу, потому что Грановский был секретарем факультета.

– Давно подана, – ответил он.

– Как подана? – возразил Грановский все с тою же насмешливой улыбкой. – Никто на факультете не знает об этом.

Соловьев объяснил, что его работа препровождена к Погодину, и после Пасхи зашел к нему с просьбою возвратить наконец диссертацию на факультет со своим о ней мнением, чтобы решился вопрос, считают ли ее достойной ученой степени или нет. На эту просьбу Погодин отвечал следующее:

– Я долго думал, как объявить вам мое мнение о вашей диссертации, ибо я чувствую, как тяжело должно быть для вас на первый раз, при первом опыте, выслушать отзыв нелестный: диссертация ваша как магистерская диссертация очень хороша, но как профессорская – вполне неудовлетворительна; приступ блестящий, правда, есть кое-что новое, чем я и сам воспользуюсь, но в изложении нет перспективы; повторяю, труд прекрасный как магистерская диссертация, но как профессорская не годится.

Соловьев возразил совершенно основательно, что ни о какой профессорской диссертации не должно быть речи; он желает получить ученую степень, и если Погодин находит его работу удовлетворительной, пусть он сделает соответствующую надпись, и факультет больше не будет беспокоить его. Тогда Погодин стал отнекиваться, говорить, что напишет на диссертации только “читал”. Но Соловьев настаивал:

– Если вы говорите прямо, что диссертация удовлетворительна, почему вы не хотите этого написать?

Погодин вынужден был уступить и написал на диссертации: “читал и одобряю”.

Погодин проговорился: он ничего не имел против Соловьева, если бы тот согласился стать его прислужником, но признать его способным к профессорскому званию он не хотел: ему желательно было, чтобы кафедра русской истории пустовала и чтобы его упросили вновь занять ее.

– Вот если бы я был опять профессором, – говорил он однажды Соловьеву, – а вы у меня адъюнктом, то мы бы устроили так: когда бы мне нездоровилось или так почему-нибудь я не был бы расположен читать, то я давал бы вам знать, о чем следует читать, и вы эту лекцию читали бы за меня.

Понятно, что Соловьев не соглашался на такую унизительную роль, и Погодину оставалось одно – не пускать его по возможности в университет.

Старания его, однако, не увенчались успехом. Как только диссертация попала вновь в руки Соловьева, она была пе-

редана Грановскому, а тот, не считая себя достаточно сведущим в русской истории, отдал ее на рассмотрение Кавелину, тогда только что начинавшему свою ученую деятельность и читавшему на юридическом факультете историю русского законодательства. Кавелин пришел в восторг от работы: в ней не было славянофильской направленности, чего он опасался, но было критическое отношение к источникам и широта взгляда. Диссертация Соловьева представляла действительно замечательное явление, в ней изложена была новая теория о старых и новых городах. Восторг свой Кавелин высказал на страницах “Отечественных записок”.

“Вышло новое, весьма замечательное сочинение г-на Соловьева, – писал он, – об одной из самых сбивчивых, запутанных эпох и сторон древней русской истории. Это сочинение – диссертация на степень магистра. Главная ее задача, как видно из заглавия, – определить, в каких отношениях находился Новгород к великим князьям древней России, от так называемого начала русской истории до окончательного покорения Новгорода Иоанном III. Эта задача решена прекрасно. Соловьев не удовольствовался общими местами и пустыми рассуждениями, а раскрыл летописи, тщательно сверил их, вник очень подробно в отношения князей и княжеских линий Рюрикова дома как между собой, так и к Новгороду, и изложил эти отношения исторически, следя из года в год за однообразными, скучными переменами князей в Новгороде и борьбой князей, когда она могла пояснить нов-

городские события. Одна эта чисто историческая, или, лучше, фактическая часть диссертации – большая заслуга автора. Пора же наконец видеть события старой Руси, рассказанные или просто, или критически, но без вычур, без литературных прикрас, какими испещрена “История…” Карамзина. Если бы Соловьев ограничился одним этим, мы и тогда сказали бы ему спасибо за многие новые и дельные замечания, за прекрасное изложение, за строго фактический рассказ истории новгородских князей и за добросовестное решение вопроса, основанное на тщательном изучении источников. Но Соловьев сделал гораздо более. По поводу внутреннего устройства Новгорода и его отношений к князьям он высказал совершенно новый, замечательно оригинальный взгляд на весь период уделов. Кто хоть сколько-нибудь знаком с нашими источниками, знает взгляды или, лучше, отсутствие всяких взглядов на древнюю русскую историю, тот, конечно, оценит мысль Соловьева. Не говоря уже о том, что в ней много поразительно верного, остроумно подмеченного, она потому заслуживает особенного внимания, что представляет первую серьезную попытку понять и объяснить постепенное развитие древней русской жизни. Этого до Соловьева никто еще не делал, по крайней мере печатно, не исключая самого Карамзина”. Рецензию свою Кавелин закончил следующими словами: “Мы не усомнимся сказать, что труд г-на Соловьева сам по себе составляет эпоху в области исследований о русских древностях и подает радостные на-

дежды в будущем. Нам остается поблагодарить автора и пожелать ему для него и для нас, чтобы продолжение его историко-литературного и ученого поприща было так же блистательно, так же обильно результатами, как начало”.

Прежде чем напечатать свой отзыв, Кавелин говорил то же самое в университетских кружках, и отношение профессоров к Соловьеву совершенно изменилось: западники приняли его с распростертыми объятиями. Когда Соловьев приехал к Грановскому, он встретил его комплиментами, сознаваясь, что суждение свое основывает на словах Кавелина.

– А что Погодин говорит о вашей диссертации? – спросил Грановский.

Соловьев передал знаменательные слова Погодина об отношениях диссертации к магистерству и докторству. Грановский не удержался.

– Подлец! – сказал он.

Строганов очень обрадовался такому ходу дела, он с восторгом слушал похвалы труду Соловьева от тех самых лиц, которые прежде отзывались не слишком лестно о молодом ученом. Попечитель был очень доволен, что может заместить Погодина вполне достойным молодым человеком, и потому приказал Соловьеву готовиться к чтению лекций. В этой ситуации Соловьев выказал благородство своего характера: он не считал себя вправе сердиться на Погодина только за то, что тот не признал его диссертацию достойной профессорской кафедры, и счел своей обязанностью предупредить про-

фессора, старавшегося навредить ему, о том, что готовится в Московском университете. Поэтому, зайдя к Погодину, он откровенно сказал ему:

– Знаю, что вы желаете занять опять кафедру, но Строганов велел мне приготовляться к лекциям; имейте это в виду и принимайте какие-нибудь меры.

Погодин ответил на это следующей колкостью:

– Не знаю, чего хочет Строганов. Хочет ли он, чтобы вы были при мне адъюнктом или при ком-нибудь другом? Слышал я, что он думал о переводе сюда Иванова из Казани; может быть, он хочет, чтобы вы при Иванове были адъюнктом.

Погодин хотел уязвить Соловьева, дав понять ему, что самостоятельным преподавателем он все равно быть не может. Понятно, что при таком отношении учителя к ученику между ними не могли долго сохраняться дружеские отношения.

29 июля декан созвал факультет и объявил, что сейчас имеются две вакантные кафедры: философии и русской истории, и что попечитель предлагает двух кандидатов: Каткова и Соловьева. На кафедру философии единогласно был избран Катков, но, когда дошла очередь до Соловьева, Шевырев объявил, что странно будет выбирать на такую важную кафедру молодого, почти неизвестного человека, когда знаменитый ученый Погодин, чувствуя, что его здоровье поправилось, желает опять занять прежнее место. Большинством голосов, однако, постановили выбрать Соловьева, поручив при этом декану спросить Погодина, на каких условиях тот

желает опять читать лекции. Давыдов предложил Погодину читать лекции для желающих, в качестве приват-доцента, без всякого вознаграждения. Погодин принял это, конечно, за оскорбление и ответил грубым письмом.

В сентябре 1845 года Соловьев начал чтение лекций в качестве преподавателя, и две его первые лекции, заключавшие обзор всей русской истории, произвели благоприятное впечатление на присутствовавших профессоров.

– Мы все вступили на кафедру учениками, – сказал Грановский, – а Соловьев вступил уже мастером своей науки.

– Дай Бог, чтобы Погодин кончил так, как этот начал, – заметил Строганов.

В октябре состоялся диспут Соловьева, прошедший блистательно. Неприятное впечатление произвело только неприличное поведение Погодина. Он объявил, что приехал только с тем, чтобы изложить свое мнение о диссертации, а не с тем, чтобы спорить; поэтому он не желает слышать никаких возражений Соловьева и не обратит на них ни малейшего внимания. Декан, однако, предложил Соловьеву защищаться, так как в этом и заключается смысл диспута, и ему нетрудно было разбить главнейшие доводы Погодина.

Казалось бы, что после всего этого отношения между учителем и учеником должны были бы окончательно прекратиться, но добродушный Соловьев через несколько месяцев после диспута все-таки стал заходить к Погодину и ему пришлось выслушать от него разные укоры.

– Ваши два приезда ко мне произвели на меня приятное впечатление, – сказал Погодин, – я подумал, молодой человек еще не огрубел; но скажите, разве хорошо вы со мной поступили?

– Вы прежде скажите мне, что дурного я сделал по отношению к вам? – ответил Соловьев.

– Вы мне привезли экземпляр своей диссертации без всякой надписи, тогда как я видел, что другим вы надписали: какому-нибудь Ефремову и тому надписали.

– Но видели вы экземпляры моей диссертации у членов факультета? – спросил Соловьев. – Ни у одного из них вы не найдете с надписью, ибо надписывать я имел право только тем, кому дарил, кому мог и не дать, тогда как лицам официальным, каковы члены факультета, я обязан был дать по экземпляру; они получили экземпляры, так сказать, казенные, а не от меня в дар. Вас я также причисляю к лицам официальным, вы были экзаменатором. Но скажу прямо: конечно, вы получили бы экземпляр с надписью очень для вас лестной, если бы не так поступили со мной, если бы черная кошка не пробежала между нами.

– А это хорошо с вашей стороны, – продолжал Погодин, – начать первую лекцию и не сказать ни слова обо мне, вашем предшественнике?

– Решительно в голову не пришло, – ответил Соловьев.

Но если бы ему это и пришло в голову, он очутился бы в большом затруднении, потому что не мог сказать ничего

хорошего о Погодине как о профессоре.

Погодин говорил о пустяках, умалчивая о своем главном обвинении против Соловьева, – о том, что он навсегда отнял у него профессорскую кафедру.

Несмотря на то что Соловьев читал шесть лекций в неделю, он энергично принялся за докторскую диссертацию и успел написать ее летом 1846 года. В 1847 году она была напечатана и составила большую книгу в семьсот страниц под заглавием “История отношений между русскими князьями Рюрикова дома”. Надо удивляться, каким образом Соловьев успел за такое короткое время закончить это обширное сочинение, где он критически исследовал наши летописи, княжеские договоры и другие документы с древнейших времен до Иоанна IV, где представил новую теорию, объясняющую общий ход русской истории за указанный период. Введение должно было привлечь внимание историка новизною взглядов.

“Мы привыкли, – говорит автор, – к выражениям “разделение России на уделы”, “удельные князья”, “удельный период”, “удельная система”, “исчезновение уделов при Иоанне III”. Употребляя эти выражения, мы необходимо даем знать, что Россия, начиная от смерти Ярослава I до конца XVI века, была разделена, ставим удел на первом плане, даем главную роль; за удел идут все борьбы, около удела вращается вся история, если период называется “удельным”, если господствует удельная система. Но раскроем летописи от вре-

мен Ярослава до XIII века: идет ли в них речь об уделах? встречаем ли в них речь об уделах? встречаем ли выражение “удельный князь” и “великий”? Происходит ли борьба за удел, за распространение, усиление одного удела на счет другого, разделена ли, наконец, Россия? Нисколько, все князья суть члены одного рода, вся Русь составляет нераздельную родовую собственность; идет речь о том, кто из князей старше, кто моложе в роде: за это все споры, все междоусобия. Владение, города, области имеют значение второстепенное, имеют значение только в той степени, в какой соответствуют старшинству князей, их притязаниям на старшинство, и потому князья беспрестанно меняют их. Интерес собственника вполне подчинен интересу родича. Вместо разделения, которое необходимо связано с понятием об уделе, мы видим единство княжеского рода. В летописи вы не находите отношений великого князя к удельным: вы находите только отношения отца к сыновьям, старшего брата – к младшим, дядей – к племянникам; даже самое слово “удел” мы не встречаем в летописи; если не было понятия о разделе, о выделе, об отдельной собственности, то не могло быть и слова для его выражения. Когда же на севере явилось понятие об отдельной собственности, то явился и удел, – до этого же времени мы встречаем только слова “волость” и “стол”. Таким образом, выражения “удельный период”, “удельная система” приводят к совершенно ложному, обратному представлению, выставляя господство удела, владения, отдельной собственно-

сти в то время, когда господствовали родовые отношения при нераздельной родовой собственности. Единство Ярославова рода рушится, и Русь делится на несколько княжеств, каждое со своим великим князем, потому что великий князь означает только старшего в княжеском роде, и если род Ярослава раздробился на несколько особых родов, то каждый род должен был иметь особого старшего, – явилось несколько великих князей. Начинается борьба между отдельными княжествами; цель этой борьбы – приобретение собственности, усиление одного княжества на счет других, подчинение всех княжеств одному сильнейшему; борьба оканчивается усилением княжества Московского, подчинением ему всех остальных. Несмотря, однако, на то, что начиная с XIII века Русь точно разделяется на несколько особых княжеств, и при господстве понятия об отдельной собственности, об уделе встречаем частое упоминание, являются отношения между удельными князьями и великими, возникает борьба между ними, стремление великих князей уничтожить уделы, – несмотря на все это и здесь названия “удельный период”, “удельная система” не могут иметь места, ибо Русь разделяется не на уделы, а на несколько независимых княжеств, из которых каждое имеет своего великого князя и своих удельных князей, и отношения между великими князьями играют столь же важную роль, как и отношения великих князей к их удельным; следовательно, название “удельного периода” и “удельной системы” и здесь также неверно, потому что не об-

нимает всех сторон княжеских отношений. Вот причины, которые заставляют исключить названия “удельный период” и “удельная система” из истории княжеских отношений и вместо того принять выражения определеннейшие: “отношения родовые” и “отношения государственные”.

Но если несправедливо название “удельный период”, то еще менее справедливо название “монгольский период”. Это название может быть допущено только тогда, когда мы берем одну внешнюю сторону событий, не следя за внутренним, государственным развитием России; мы не имеем никакого основания ставить монгольские отношения на первом плане, приписывать азиатской орде такое сильное влияние на развитие европейско-христианского общества. Название “монгольский период” должно быть исключено из русской истории, потому что мы не можем приписать монголам самого сильного влияния на произведение тех явлений, которыми отличается наша история начиная с XIII века; новый порядок вещей начался гораздо прежде монголов и развивался естественно вследствие причин внутренних, при пособии разных внешних обстоятельств, в числе которых были и монгольские отношения, но не под исключительным их влиянием. Отстранив название “удельный период”, дававшее неверное понятие о характере нашей древней истории, о характере княжеских отношений; отстранив равно название “монгольский период”, который незаконно рассекал историю княжеских отношений на две части и тем самым прерывал для

историка естественную связь событий, естественное развитие общества из самого себя, – мы приступим к изложению истории княжеских отношений, разделив весь труд на четыре отдела. 1-й отдел будет заключать пространство времени от призвания Рюрика до Андрея Боголюбского; здесь княжеские отношения носят характер чисто родовой. 2-й отдел обнимет события от Андрея Боголюбского до Иоанна Калиты; здесь обнаруживается стремление сменить родовые отношения, вследствие чего начинается борьба между князьями северной и южной Руси, преследующими противоположные цели. Эта борьба после раздробления рода сменяется борьбою отдельных княжеств с целью усиления одного на счет другого; окончательная победа остается на стороне княжества Московского. В 3-м отделе изложатся события, имевшие место от Иоанна Калиты до Иоанна III; вследствие усиления Московского княжества, стремящегося подчинить себе все другие, северо-восточная Русь сосредоточивается также около одного пункта – Москвы, в то же время Русь юго-западная сосредоточивается около одного пункта – Литвы; обе половины Руси, в челе которых стоят две различные династии, вступают в борьбу между собой, но отношения польские сдерживают деятельность литовских князей относительно Востока, а между тем московские владетели все более и более дают силы государственным отношениям над родовыми. 4-й отдел, от Иоанна III до пресечения Рюриковой династии, представит окончательное торжество го-

сударственных отношений над родовыми, – торжество, купленное страшной, кровавой борьбой с издыхающим порядком вещей”.

Кавелин вполне оценил этот замечательный труд и отозвался о нем самым лестным образом в “Отечественных записках” и “Современнике”. Кавелину нравилось то, что Соловьев не только излагает факты, но старается объяснить общий ход русской истории. Погодин находил, что это бесполезный труд, что историк должен ограничиваться выборкой из летописей, не строя никаких систем, не увлекаясь никакими теориями, то есть оставаясь сухим летописцем, каковым был сам. Докторскую диссертацию Соловьева он назвал собранием парадоксов, но тут же выдал себя, признавшись: “Я не прочел всей книги, потому что видел с первых страниц путь непрямой, путь, не ведущий к цели”. Погодин обвинял Соловьева в поспешности: “Как г-н Кавелин приступает к истории с готовыми мыслями, – писал он, – так г-н Соловьев употребляет в дело первые ему попавшие в голову. Иначе и нельзя бы решить в один год столько вопросов: и об уделах, и о родовых отношениях, и о местничестве, и о Новгороде, и проч., и проч.”. Учителю было неприятно, что его молодой ученик решил много вопросов, так как он сам за двадцать лет ни одного вопроса не решил.

Соловьев получил за свою диссертацию ученую степень доктора исторических наук и вслед за этим был утвержден экстраординарным профессором, а в 1850 году – ординар-

ным. До самой смерти он жил почти безвыездно в Москве, переселяясь только на лето на какую-нибудь подмосковную дачу. Жизнь его не была богата событиями, так как он всю ее посвятил науке и Московскому университету, где занимал кафедру более тридцати лет. Поскольку на одно профессорское жалованье жить было невозможно, то Соловьев занимал и другие должности, сначала инспектора Николаевского института, а затем – директора Оружейной палаты. Кроме того, он преподавал русскую историю членам императорской фамилии. Уже незадолго до смерти Соловьева Академия наук, где кафедру истории занимал Погодин, признала наконец его ученые заслуги и избрала его в ординарные академики по русскому отделению.

Соловьев справедливо восставал против крайней специализации в занятиях и хотел, чтобы высшее образование давало молодым людям не только специальные познания, но и общее развитие. Это видно из речи, сказанной им 1 ноября 1872 года при открытии Высших женских курсов в Москве.

“Мы предлагаем, – говорил Соловьев, – Высшие курсы не факультетские, но курсы предметов общего образования. Почему же мы вам предлагаем такие курсы и их считаем необходимыми для вас? Да потому, что мы считаем себя обязанными по мере сил наших содействовать избавлению русской женщины от тех неудобств, которые терпят множество русских мужчин, принадлежащих к так называемому образованному классу, – от неудобств, проистекающих вслед-

ствие недостатка общего высшего образования. Известно, что сущность цивилизации состоит в разделении занятий: дикарь делает сам все для него нужное; человек цивилизованный делает что-нибудь одно и потому может совершенствовать свой труд, и так как относительно всех остальных необходимых вещей он находится в зависимости от своих собратий, то здесь образуется тесная общественная связь, источник общественного развития. Но в делах человеческих где свет, там и тень, и при блестящих успехах цивилизации, условленных разделением занятий, люди проницательные уже давно стали указывать на печальные следствия этого доводимого до крайности разделения занятий, указывали, как человек, занятый постоянно одним и тем же делом, тупеет, превращается в машину, тогда как духовные силы развиваются под условием простора, расширения горизонта, многообразия предметов, доступных познаванию и деятельности. Одинаково печальны бывают следствия, когда человек разбрасывается по множеству предметов и подавляется этим множеством и когда при исключительном занятии одним каким-нибудь делом дает иссякать своим духовным силам, не восстановляя их необходимой переменой занятия. Сказанное вообще прилагается и к разделению научных занятий: обыкновенно по окончании курсов общего образования в приготовительных школах стремятся в высшие специальные учреждения, чтобы посвятить себя изучению известного круга предметов, но это слишком поспешное ограни-

чение себя известною специальностью приносит очень часто горькие плоды: само глубокое изучение своей специальности и известные успехи в ней не спасут человека от односторонности, остановки в развитии, отупения, и специалист в науке нисходит на степень специалиста в ремесле, он поражает незнанием самых обыкновенных предметов, задает детские вопросы, сидит глух и нем при решении вопросов общественного интереса, или, что еще хуже, муж, поседевший в трудах, принимает первое накрикнутое ему мнение и повторяет его. Часто старик идет в ученики к ребенку, от него старается узнать, какое последнее новенькое мнение существует относительно того или другого предмета, и легко понять, какие удивительные вещи получает в ответ: он или повторяет бессмыслицу, или с ужасом начинает жаловаться на науку, до чего она дошла в последнее время, чему это учат молодых людей; иной старается усвоить себе новенькое, самое цветное мнение точно так, как человек, приехавший из глуши в столицу, увидит человека пестро одетого и считает его за первого столичного франта, законодателя моды, облачится в пестроту и думает, что оделся по последней моде, с отличным вкусом. Таким образом, общего образования, доставляемого приготовительными школами, оказывается недостаточным, ибо они имеют главной задачей развитие умственных способностей для приготовления к дальнейшему занятию науками в специальных учреждениях, – обращается особенное внимание на предметы, наиболее содей-

ствующие достижению этой цели, – для занятия предметами высшего общего образования у них нет времени, да и возраст учащихся тому препятствует. А именно тогда, когда молодой человек вырос, окреп, развил свои способности посредством предметов приготовительной школы, когда получил возможность с успехом заняться предметами высшего общего образования, столь необходимыми для правильности его гражданской мысли и деятельности, именно тогда он углубляется в какую-нибудь специальность и без высшего общего образования подвергается опасности снизойти на степень ремесленника. Разумеется, есть натуры избранные, которые не могут чувствовать себя очень удобно в тесном помещении своей специальности и потому стараются приобрести сведения своими средствами, с большим трудом и препятствиями, в предметах общего высшего образования, отчего они становятся, с одной стороны, полноправными членами общества с голосом, а с другой – приобретают могущественные средства для успехов в своей специальности. Но такие явления составляют, к несчастью, исключения, а мы должны иметь дело с большинством, да и для всех вообще важно иметь средство с наименьшими усилиями и препятствиями приобретать сведения в предметах высшего общего образования, при указании и руководстве людей более опытных. Таким образом, необходимость правильно организованных курсов общего высшего образования есть потребность нудящая".

Сообразно с таким взглядом на высшее образование Со-

ловьев старался в своих университетских лекциях не только давать студентам полезные сведения, но прежде всего развивать их, и потому придавал своему курсу философский характер. Не утомляя слушателей подробным изложением фактов, он останавливал внимание на так называемой внутренней истории, показывая, какое значение имела природа России для ее истории, прослеживая отношения между князьями в так называемый “удельный период”, объясняя, какое значение имело татарское иго, почему столица перенесена была с юга на север, как сложилось самодержавие, как вследствие борьбы казачества с земскими людьми наступило Смутное время, почему необходима была реформа Петра и в какой связи она находилась с предыдущим временем. Профессор старался понять законы, по которым развивалась русская история, и постоянными сравнениями с историей Западной Европы давал своим слушателям богатый материал для выводов, заставлял их думать, расширял их умственный горизонт. Чтобы познакомить читателей с изложением мыслей Соловьева на кафедре, приведу для примера одно место из его ненапечатанных лекций, где он говорит о реформе Петра Великого.

“Во второй половине XVII века русский народ явственно тронулся на новый путь: после многовекового движения на Восток он начал поворачивать на Запад, – поворот, который должен был необходимо вести к страшному перевороту, болезненному перелому в жизни народной, в существе наро-

да, ибо здесь было сближение с народами цивилизованными, у которых надо было поучиться, которым надо было подражать. Вопрос о том, могло ли сближение с европейскими народами и воспринятие цивилизации совершиться спокойно в России, постепенно, без увлечения, решается легко при внимательном наблюдении общих законов исторических явлений. Можно ли себе представить, чтобы молодой, исполненный жизненных сил народ, сблизившись с другими, превосходящими его народами, понявши чрез сравнение недостатки своего быта, не бросился вдруг на все то, что казалось ему лучшим у других? Да и можно ли было медлить, когда несостоятельность его воли, несостоятельность материальная и нравственная были так живы? Западные европейские народы относительно цивилизации своей стояли высоко над русским, который должен был идти к ним в ученье. Долговременное пребывание в удалении от Западной Европы и ее цивилизации, крайность, исключительность одного направления необходимо условливали крайность противоположного направления, необходимость удовлетворить вдруг всему должна была неминуемо сообщить нашему так называемому преобразованию характер революционный, всесторонний. На Западе эти революции были политические, односторонние, боролись люди одной какой-нибудь партии; у нас в России революция прошла по чувству и уму человека, революция совершилась во всем русском человеке; некоторые думали, что Россия переоделась только, что в этом только

состояла революция, но, внимательно присматриваясь, увидим, что русский человек преобразовался внутри. Миллионы новых предметов, понятий и отношений теснятся в уме русского человека, и он не слабеет, он не умирает от прикосновения к цивилизации, потому что он не как слабый дикарь знакомится с одной водкой, для слабой головы которого мир новых понятий не по силам, а как человек, сознательно понявший необходимость ученья.

Известно, что воспитатели и педагоги говорят: нельзя трудить слишком ребенка, нельзя вбивать ему в голову всего разом, представлять ему множество понятий и новых отношений, потому что можно заучить ребенка, умертвить его. То же самое происходит и со взрослыми дикарями: они не переносят натиска новых понятий, они заучиваются, так сказать, хиреют, вымирают. Следовательно, если народ, не знавши цивилизации, вдруг встречается с нею и не хиреет, не дрожит перед нею, а продолжает жить усиленной жизнью, он силен, – а русский человек выдержал натиски цивилизации в начале XVIII века. Преобразовательная деятельность должна была совершиться, она была необходима: народ, отставший от общего хода европейской жизни, вместе живой и молодой, не мог не броситься в погоню за цивилизацией. Мы не можем упрекать человека, который до совершеннолетия по обстоятельствам жизни своей не мог образовываться, а потом вдруг усиленно начинает хлопотать об этом, тем более что эта поспешность находится в связи с его существо-

ванием, а в таком-то положении находилась Россия: без преобразования она не могла существовать, преобразование, и преобразование спешное, было естественным следствием и необходимым результатом всей древней русской истории. Если наша революция в начале XVIII века была необходимым условием предшествовавшей истории, то из этого вполне уясняется значение главного деятеля в перевороте, Петра Великого; он является вождем в деле, а не создателем дела, которое потому есть народное, а не личное, принадлежащее одному Петру.

Великий человек есть всегда и везде представитель своего народа, удовлетворяющий своей деятельностью известным потребностям народа в известное время. Формы деятельности великого человека условлены историей, бытом народа, среди которого он действует. Чингисхан и Александр Македонский – оба завоеватели, но какая разница между ними! Эта разница происходит от различия народов, которых они были представителями. Деятельность великого человека есть результат всей предшествовавшей истории народа; великий человек не насилует свой народ, не создает того, что не потребно, и великий человек теряет свое божественное значение, не является существом созидающим и разрушающим по своему произволу.

Иностранцы не без некоторого, понятного, впрочем, удовольствия повторяли и повторяют, что Петр насильно и преждевременно цивилизовал русских, что и не могло пове-

сти и даже никогда не поведет ни к какому толку. Вооружаются вообще против преобразований, идущих сверху. Мы не знаем будущего, и потому не станем говорить о нем, но для устранения бесплодных толков опять обратимся к сравнениям из прошедшего. В настоящее время ни один из европейских писателей, верующий или неверующий, не станет отрицать цивилизующего значения христианства; каждый европеец гордится тем, что христианство пустило глубокие корни преимущественно в Европе, что доказывает высшее развитие, большую крепость племен, населяющих эту часть света. Но пусть же припомнят историю принятия христианства европейскими народами, пусть припомнят, что обыкновенно дело шло сверху, принимали христианство князь, дружина его, ближние люди, и потом уже новая вера распространялась в массе, причем не обходилось без ожесточенной борьбы, без страшного сопротивления со стороны народа, отстаивавшего старину, веру отцовскую. Что же из этого следует? То, что европейские народы были обращены в христианство насильно своими правительствами? Еще пример ближайший: в Англии король Генрих VIII вздумал отложиться от римской церкви; но известно, какое сильное сопротивление встретил он своему делу, какие сильные раздражения, восстания вельмож и народа должен был он побороть, – значит, английский народ был насильно отторгнут от папы, и реформа, которой так гордятся англичане, была личным делом Генриха VIII?

Итак, они ошибаются: Россия сама повернула на новый путь, но как нарочно в это же время грусть и скука выгоняют молодого царя из дворца на улицу, в новую сферу, где он окружен новыми людьми, где он – вождь новой дружины, разошедшейся с прежним бытом, с прежними отношениями. Без оглядки бежит он из скучного дворца чистым и свежим, новым человеком и потому способным окружить себя новыми людьми; он убежал от царедворцев и ищет товарищей, берет всякого, кто покажется ему годным для его дела. Образуется новое государство, и, как обыкновенно бывало при этом, является дружина со своим вождем, которая и движется, разрушая старое, созидая новое. В Петре не было ничего, что старинные русские люди привыкли соединять со значением царя, – это герой в античном смысле, это в новое время единственная исполинская фигура, каких мы много видим в туманной дали, при основании и устроении человеческих обществ".

"Для Соловьева, как и для Грановского, – говорит академик К. Н. Бестужев-Рюмин, – история была наука, по преимуществу воспитывающая гражданина. Для того и для другого поучительный характер истории заключался не в тех прямых уроках, которыми любила щеголять историография XVIII века и которыми богаты страницы Карамзина, где выставляются герои добродетели в пример для подражания и чудовища порока в образец того, чего следует избегать. Нет, ни тот, ни другой из этих незабвенных профессоров

не считал историю “зеркалом добродетели”, но каждый из них имел другую цель: они старались воспитать в своих слушателях сознание вечных законов исторического развития, уважение к прошлому, стремление к улучшению и развитию в будущем; они старались пробудить сознание того, что успехи гражданственности добываются трудом и медленным процессом, что великие люди суть дети своего общества и представители его, что им нужна почва для действия. Не с насмешкой сожаления относились они к прошлому, но со стремлением понять его в нем самом, в его отношениях к настоящему: “Спросим человека, с кем он знаком, – и мы узнаем человека; спросим о его истории, – и мы узнаем народ”. Этими словами Соловьев начал свой курс 1848 года, когда я имел счастье его слушать. В истории народа мы его узнаем, но только в полной истории, в такой, где на первый план выступают существенные черты, где все случайное, несущественное отходит на второй план, отдается в жертву собирателям анекдотов, любителям “курьезов и раритетов”. Кто так высоко держал свое знамя, тот верил в будущее человечества, в будущее своего народа и старался воспитывать подрастающее поколение в этой высокой вере. С этой-то воспитательной целью такие профессора держались преимущественно общих очерков, где в мелочах не теряется общая мысль. Таким был всегда характер курсов Грановского, таким постепенно делал свой курс Соловьев; но и на первых своих шагах в университете он уже давал много места общим

соображениям и выводам".

Как горячо принимал к сердцу Соловьев университетские дела, видно из следующего рассказа профессора Буслаева: "Первым делом в организации университетского самоуправления (по введении университетского устава 1863 года) было – решить, кого избрать председателем совета. Вопрос этот на первых же порах сделался яблоком раздора в профессорской корпорации. Одни хотели иметь ректором Соловьева, другие – Баршева, и таким образом желанное единогласие для общей пользы было нарушено и распалось на две враждебные партии, на соловьевскую и баршевскую. Первая была гораздо малочисленнее последней, поэтому ректором был избран Баршев и оставался в этой должности несколько трехлетий сряду. Ожесточенная вражда, не умолкавшая в стенах университета, наконец опротивела мне донельзя. Она вредила и общему делу, и была гибельна для отдельных лиц. Однажды в заседании совета Соловьев, в качестве декана, горячо защищал какое-то предложение или заявление филологического факультета от злостных нападок со стороны враждебной партии и до того был оскорблен и раздражен нахальством и дерзостью своих противников, что совсем изнемог, а воротившись домой, в тот же день слег в постель и целые шесть недель прохворал в нервной горячке" ("Вестник Европы", 1892, март).

В семидесятых годах, когда изменилась профессорская корпорация, Соловьева несколько раз выбирали в ректоры.

“Когда университет, – говорит ученик и сослуживец Соловьева профессор Герье, – признавая его значение, избрал его в ректоры, для этого учреждения наступила новая счастливая пора внутреннего развития, оправдавшая начала, положенные в основание университетского устава 1863 года. Ректорство С. М. Соловьева было знаменем служения одним только научным интересам и широкого понимания задач университетской жизни. Слова, написанные им некогда об исповедниках просвещения в XVII веке, что им “нужно было много труда, много жертв и страдания”, сделались как бы пророческими для него самого. Ему опять пришлось бороться против недоверия к науке, “происходившего от неуменья сладить с прогрессом, от стремления остановить его, возвратиться к первоначальным формам”. Но теперь речь шла не о литературных направлениях, не об исторических взглядах, оно касалось жизненных форм русской науки, университетского строя… Ученый, который своей многолетней, всеми признанной деятельностью доказал, как он умел согласовать самую искреннюю, разумную преданность государственному началу с бескорыстным стремлением к науке и просвещению, мог, конечно, вернее и беспристрастнее многих других судить об истинных потребностях русской науки. Но ему не суждено было дать перевес тому, что он считал правым делом; весною 1877 года Соловьев был принужден оставить ректорство и прославленную им кафедру. Через два года смерть навсегда прекратила его просвещенную деятель-

ность”.

Еще не настало время рассказывать подробно о борьбе, которую вел С. М. Соловьев, – борьбе прогресса с застоем, светлого начала с темным. Еще живы лица, с которыми он боролся, которые осилили его…

ГЛАВА III

“История России с древнейших времен”

Защитив докторскую диссертацию, Соловьев принялся за свой главный труд – “Историю России…” – и выпустил первый том осенью 1851 года. В 1830 году, когда вышла “История русского народа” Полевого, А. В. Никитенко записал в своем дневнике:

“Еще до появления в свет этой книги она уже была осуждаема и превозносима. Так называемые патриоты, почитатели доброго Карамзина, не понимают, как можно осмелиться писать историю после Карамзина. Партия эта состоит из двух элементов. Одни из них – царедворцы, вовсе немыслящие или мыслящие по заказу властей; другие, у которых есть охота судить и рядить, да недостает толку и образования, в простоте сердца веруют, что Карамзин действительно написал историю русского народа, а не историю русских князей и царей. Конечно, есть также люди благомыслящие и образованные, суд которых основывается на размышлении и доказательствах, коих немного. Эти последние знают, чем отечество обязано Карамзину, но знают также, что его творение не удовлетворяет требованиям идеи истории столько, сколько удовлетворяет требованиям вкуса”.

Попытка Полевого не удалась, и это еще более утверди-

ло некоторую часть общества в мнении, что Карамзин стоит на недосягаемой высоте и что писать историю после него большая дерзость. Такой взгляд господствовал в высшем обществе, когда появился первый том “Истории…” Соловьева. Один из высокопоставленных меценатов прямо высказал автору свое недовольство; он находил намерение писать русскую историю после Карамзина очень смелым: другое дело, если бы Соловьев издал лекции, читанные им в университете. Автор отвечал, что название лекций было бы странным для труда, который, должно быть, будет очень обширным и многотомным. Это окончательно рассердило мецената, и он сказал нелепость, показывавшую всё его невежество: “Да и в Англии пробовали писать многотомные истории, а до Юма все-таки не достигли”. Эти меценаты, не читая труда Соловьева, отзывались о нем с большим пренебрежением, старались уничтожить, уронить его в глазах публики. Но обыкновенная читающая публика отнеслась иначе к сочинению молодого профессора. Она раскупила довольно скоро новую книгу и тем доказала, что потребность в новой истории России действительно существовала и что труд Соловьева удовлетворял этой потребности больше, чем устаревшее сочинение Карамзина.

Критика отнеслась к “Истории России с древнейших времен” довольно недоброжелательно. Один только Кавелин оценил ее по достоинству и посвятил разбору первого тома обширную статью в “Отечественных записках” 1851 года, где

говорится между прочим следующее:

“Как прагматическое сочинение новая книга г-на Соловьева бесспорно принадлежит к числу лучших исторических трудов, появившихся в последнее время. Книга его достойным образом представляет в нашей исторической литературе направление, данное в последнее время изучению русской истории. Можно не соглашаться с г-ном Соловьевым, но нельзя не признать, что его сочинение свидетельствует о глубоком знании автора, его правильном историческом взгляде и методе и знакомстве с исторической критикой в ее современном значении. Вот почему первый том “Истории России…” бесспорно – историческое сочинение в полном значении слова. “История России…” есть зрелый и сознательный исторический труд, а не шаткий опыт. Все исторические явления рассматриваются здесь с их внутренней стороны во взаимной связи и раскрываются последовательно по их внутренней преемственности; бытовая сторона обращает на себя, как и следует, гораздо большее внимание автора, чем внешние события. Наконец, взгляд гораздо серьезнее, приемы строже, чем у его предшественников. Вот общая оценка разбираемой нами книги, как мы ее понимаем. Она произвела на нас самое утешительное впечатление как живое, несомненное доказательство преуспеяния русской исторической литературы и ее быстрых успехов в такое короткое время”.

Прямо враждебно отнесся к новому труду Соловьева его учитель Погодин, и по весьма понятной причине. Он сам

просидел на кафедре более двадцати лет, приобрел авторитет, считался первым знатоком русской истории, – и что же он сделал? Написал две диссертации о варягах – и Несторе. Ученик же его, которому было всего тридцать лет, в два года своего профессорства напечатал две диссертации, удивившие ученый мир широтой взглядов, и вслед за этим приступил к изданию обширной истории, он, видите ли, хочет быть Карамзиным. Обида была слишком велика: надо уничтожить труд Соловьева в самом начале, добиться того, чтобы он сам бросил свое дерзкое предприятие. “Москвитянин” объявляет настоящий поход против новой истории России. Сам Погодин и его прислужники с шипением и пеною у рта пишут обширные рецензии, стараются доказать, что в труде Соловьева нет ни одного слова правды: “Соловьев или не умеет понимать летописи, или с намерением искажает смысл летописного свидетельства для каких-то задних мыслей”. При этом делались намеки, будто Соловьев списывал сочинения Погодина, не упоминая об источнике.

Соловьев возражал Погодину на страницах “Московских ведомостей” (статья его не была подписана), возражал прилично, не позволяя себе никаких личных выходок и грубых выражений, но между прочим упрекал Погодина в том, что тот пишет о его “Истории…”, не вполне познакомившись с нею. На это Погодин ответил в свойственной ему грубой манере: “Статья “Московских ведомостей” за г-на Соловьева упрекает меня, что я не читал его “Истории…”. Это совер-

шенная правда: я не читал ее и читать не буду".

По выходе последующих томов "Истории России…" Погодин продолжал свою неприличную полемику, но Соловьев ничего уже не возражал. Постепенно он привык к журнальной брани и перестал придавать ей значение, а нередко ему приходилось читать отзывы критиков, которые не хотели или не способны были понять значение его труда.

Соловьев ничего не отвечал на сыпавшиеся на него нападки, или, лучше сказать, он отвечал новыми томами своего капитального труда. Начиная с 1851 года он ежегодно выпускал по тому своей "Истории…" и всего успел напечатать двадцать восемь; последний, двадцать девятый, вышел уже после смерти автора. Соловьев хорошо делал, что не тратил времени на бесполезную полемику с разными журнальными зоилами: их мелочная критика давно позабыта, а двадцать девять томов "Истории России с древнейших времен" навсегда останутся в нашей литературе.

"История…" Соловьева до сих пор необходима, и даже незаменима как для ученого, так и для всякого образованного человека, желающего ознакомиться с прошлым своего отечества. Это единственная у нас полная "История России", доходящая до 1774 года. К сожалению, автору не удалось довести своего рассказа до конца царствования Екатерины, но зато две другие его книги отчасти пополняют этот пробел и продолжают исторический рассказ до 1825 года. Я говорю о сочинениях Соловьева "История падения Польши"

и “Император Александр I”. В последнем труде, правда, рассмотрены только дипломатические сношения России с иностранными державами; главное внимание обращено, конечно, на Францию, и взгляд Соловьева на Наполеона, несмотря на множество изданных с тех пор документов, остается до сих пор верным. При составлении своей “Истории России…” Соловьев воспользовался всеми известными источниками и на основании критического их изучения подробно излагал факты, причем нередко буквально передавал летописи, что порою утомляет читателя, но зато наглядно передает характер эпохи. В первых томах мы находим подробное изложение княжеских усобиц, походов на печенегов и половцев, сражений с татарами и т. п. Установить события в их взаимной последовательности, показать, какие факты могут быть признаны достоверными, было необходимо, так как они служат единственной надежной опорой для дальнейших выводов; особенно необходимо было это сделать для XVII и XVIII веков: если с древней историей еще можно было кое-как ознакомиться по сочинению Карамзина, то новая история после Смутного времени оставалась совершенно неизвестной. Но тут Соловьев заметил, что по одним печатным источникам невозможно написать сколько-нибудь полной истории, и он обратился к документам, хранящимся в наших архивах. Большинство томов его “Истории…” составлены почти исключительно по списанному им архивному материалу; таким образом Соловьеву пришлось быть в одно и то же время

и первым издателем сырого материала, и первым его исследователем. Кто знает, сколько времени отнимают поиски в архивах, сколько труда надо положить, чтобы разобраться в этом материале, тот оценит вполне громадную работу, принятую на себя нашим историком, и поблагодарит его за подробное изложение фактов нашей новой истории, которые без него, может быть, до сих пор оставались бы неизвестными. Между прочим, Соловьев первый обратил должное внимание на историю юго-западной Руси, которая до него почти не подвергалась критической разработке. Указав на борьбу, которую вели русские люди юго-западных областей с католическими стремлениями Ягеллонов и их преемников, Соловьев говорит: историк должен со вниманием следить за этой борьбою, – по тому великому значению, которое имела она и особенно исход ее на судьбы России и Восточной Европы. Но, разумеется, главное внимание Соловьева привлекала не юго-западная, а северо-восточная Русь, где "вследствие внутренних движений образовалось самостоятельное русское государство". Его-то жизнь, развитие, колебания его судьбы ни на минуту не должен упускать из виду историк и, по мнению Соловьева, лишь в положении к нему измерять важность тех или других событий, совершающихся вне его пределов.

Полнота "Истории России с древнейших времен" заключается не только в том, что по ней можно ознакомиться со всеми фактами нашей истории вплоть до екатерининского

времени, но также в том, что автор обратил должное внимание на так называемую внутреннюю историю. Здесь приняты во внимание все стороны нашего прошлого, история сословий, дружины, бояр, купечества, дворянства, городского и сельского населения, духовенства, монашества, история учреждений, приказов, Сената, Синода, собрание законов, “Русская правда”, “Судебники”. “Уложение”, экономическое положение страны, финансы, торговля, не забыты и литература, просвещение, нравы и обычаи. Например, в первых пяти томах (составляющих один том нового издания) более трети страниц отведено главам под названием “Внутреннее состояние русского общества”. Таким образом, сочинение Соловьева есть не только история государства и народа, но вместе с тем и история русской жизни.

Такая полнота уже сама по себе имеет значительную цену и во всяком случае делала бы труд Соловьева чрезвычайно полезным для историков, но по современным научным воззрениям он не имел бы права называться историком, если бы в нем не было ничего, кроме толкового и хотя бы критически проверенного изложения фактов. Считая необходимым подробно излагать исторические факты, Соловьев в то же самое время старался проникнуть в глубь событий, найти им должное объяснение. При этом сказалось многостороннее образование автора, его занятия европейской историей сначала под руководством Грановского, потом за границей, постоянно пополнявшиеся чтением выдающихся сочинений

по всеобщей истории.

Соловьев воспользовался идеями знаменитого географа Риттера о взаимодействии между природой и человеком и приложил их к русской истории. С этого начинается его сочинение. “Ход событий постепенно подчиняется природным условиям”, – говорит он и тут же показывает, какое значение имела в нашей истории равнинность страны, отсутствие гор.

“Перед нами обширная равнина: на огромном расстоянии от Белого моря до Черного и от Балтийского до Каспийского путешественник не встретит никаких сколько-нибудь значительных возвышений, не заметит ни в чем резких переходов. Однообразие природных форм исключает областные привязанности, ведет народонаселение к однообразным занятиям; однообразность занятий производит однообразие в обычаях, нравах, верованиях; одинаковость нравов, обычаев и верований исключает враждебные столкновения; одинакие потребности указывают одинакие средства к их удовлетворению, и равнина, как бы ни была обширна, как бы ни было вначале разноплеменно ее население, рано или поздно станет областью одного государства: отсюда понятна обширность русской государственной области, однообразие частей и крепкая связь между ними”.

Стараясь объяснить причины, по которым усилилась Москва, Соловьев указывает на географическое положение этого города, на важное значение Москвы как срединного пограничного места между старою, южною, и новою, север-

ною, Русью, на посредничество ее речной области между юго-востоком и северо-западом в отношении торговли.

Различие между природой Западной и Восточной Европы отразилось, по мнению Соловьева, и на общем ходе истории и обусловило разницу между нашей и западноевропейской историей.

“Мы так часто, – говорит он, – употребляем выражение “Западная и Восточная Европа”, так много знаем, так много толкуем о их различии и следствиях этого различия; но если путешественник, переезжающий из Западной Европы в Восточную или наоборот, свежим взглядом посмотрит на их различие, станет отдавать себе отчет о нем под свежим впечатлением видимого, то, конечно, прежде всего скажет, что Европа состоит из двух частей, западной – каменной и восточной – деревянной. Камень – так называли у нас в старину горы – камень разбил Западную Европу на многие государства, разграничил многие народности; в камне свили свои гнезда западные мужи и оттуда владели мужиками; камень давал им независимость; но скоро и мужики огораживаются камнем и приобретают свободу, самостоятельность; все прочно, все определенно благодаря камню; благодаря камню поднимаются рукотворные горы, громадные вековые здания. На великой восточной равнине нет камня, все ровно, нет разнообразия народностей – и потому одно небывалое по своей величине государство. Здесь мужам негде вить себе каменных гнезд, не живут они особо и самостоятельно, живут

дружинами около князя и вечно движутся по широкому беспредельному пространству; у городов нет прочных к ним отношений. При отсутствии разнообразия, резкого разграничения местностей, нет таких особенностей, которые бы действовали сильно на образование характера местного народонаселения, делали для него тяжким оставление родины, переселение. Нет прочных жилищ, с которыми бы тяжело было расставаться, в которых бы обжились целыми поколениями; города состоят из кучи деревянных изб, первая искра – и вместо них куча пепла. Беда, впрочем, невелика: движимого так мало, что легко вынести с собою, построить новый дом ничего не стоит по дешевизне материала; отсюда с такой легкостью старинный русский человек покидал свой дом, свой родной город или село, уходил от татарина, от литвы, уходил от тяжкой подати, от дурного воеводы или подьячего; брести розно было нипочем, ибо везде можно было найти одно и то же, везде Русью пахло. Отсюда привычка к расходке в народонаселении и отсюда стремление правительства ловить, усаживать и прикреплять".

В России Соловьев опять-таки видит две половины – лесную и степную – и этим различием природы объясняет разные явления нашей истории.

"Здесь, – говорит он, – две формы господствуют – лес и поле, или степь. Из противоположности этих двух форм, находящихся друг подле друга, вытекает историческая противоположность, борьба народонаселения двух половин Рос-

сии, лесной и степной. Степь была изначала жилищем кочевых, хищных народов; с ними – изначальная борьба Руси, основавшейся в польской (степной) украйне. Борьба эта, несмотря на всю удаль князей и дружин их, кончилась торжеством степного народонаселения, которое постоянно пустошило Русь при половцах и окончательно запустошило при татарах. Прочный порядок вещей, государство, способное побороть степное народонаселение, могли утвердиться, окрепнуть только вдали от степи, на севере, в лесной стороне, малодоступной, не удобной для кочевого хищника. Но Московское государство, образовавшееся в лесной стороне, при своем распространении скоро достигло степи; у него образовалась польская, как называли в старину, т. е. степная окраина, или украйна, долженствовавшая постоянно терпеть от соседства степи; но это была только украйна, тогда как в Древней Руси главная сцена действия, стольный город великокняжеский был на самой украйне. И Московское государство ведет постоянную борьбу с народонаселением степей; с ослаблением кочевых орд борьба не прекращается, ибо в степи образуется особого рода народонаселение – казаки. Борьба земских людей, государства с казачеством есть, относительно природных форм, борьба лесной стороны с полем, степью, что особенно выразилось в Смутное время и в последующие казацкие движения, когда Россия делилась по духу, характеру народонаселения, на северную, земскую, и на южную, украйну со степями, казацкую. Степь условли-

вала постоянно эту бродячую, разгульную казацкую жизнь с первобытными формами; лес более ограничивал, определял, более усаживал человека, делал его земским, оседлым, установившимся, в противоположность казаку вольному, гулящему".

Соловьев сам указал на задачу, которую, по его мнению, должен выполнить русский историк.

"Уже давно, – говорит он, – как только начали заниматься русской историей с научной целью, подмечены были главные, особенно выдающиеся в ней события, события поворотные, от которых история заметно начинает новый путь. На этих событиях начали останавливаться историки, делить по ним историю на части, периоды; начали останавливаться на смерти Ярослава I, на деятельности Андрея Боголюбского, на сороковых годах XIII века, на времени вступления на московский престол Иоанна III, на прекращении старой династии и восшествии новой, на вступлении на престол Екатерины II. Некоторые писатели из этих важных событий начали выбирать наиболее, по их мнению, важные; так явилось деление русской истории на три большие отдела: древнюю – от Рюрика до Иоанна III, среднюю – от Иоанна III до Петра Великого, новую – от Петра Великого до позднейших времен. Некоторые были недовольны этим делением и объявили, что в русской истории может быть только два больших отдела – история древняя, до Петра и новая, после него. Обыкновенно каждый новый писатель старался

показать неправильность деления своего предшественника, обыкновенно старался показать, что и после того события, при котором предшествующие писатели положили свои грани, продолжался прежний порядок вещей; что, наоборот, перед этой гранью мы видим явления, которыми писатель характеризовал новый период, и т. д. Споры бесконечные, ибо в истории ничего не оканчивается вдруг; новое начинается в то время, когда старое продолжается. Но мы не будем продолжать этих споров, мы не станем доказывать неправильность деления предшествовавших писателей и придумывать свое деление, более правильное. Мы начнем с того, что объявим все эти деления правильными; мы начнем с того, что признаем заслуги каждого из предшествовавших писателей, ибо каждый в свою очередь указывал на новую сторону предмета и тем способствовал лучшему пониманию его. Все эти деления и споры о правильности того или другого из них были необходимы в свое время, в первое время занятия историей; тут необходимо, чтобы легче осмотреться, поскорее разделить предмет, поставить грани по более видным, по более громким событиям; тут необходим сначала внешний взгляд, по которому эти самые видные, громкие события и являются исключительными определителями исторического хода, уничтожающего вдруг все старое и начинающего новое. Но с течением времени наука мужает, и является потребность соединить то, что прежде было разделено, показать связь между событиями, показать, как новое проистек-

ло из старого, соединить разрозненные части в одно органическое целое, является потребность заменить анатомическое изучение предмета физиологическим.

История, – говорит дальше Соловьев, – знает различные виды образования государств: или государство, начавшись незаметной точкой, в короткое время достигает громадных размеров, в короткое время покоряет себе многие различные народы, к одной небольшой области в короткое время силой завоевания привязываются многие другие государства, связь между которыми не условливается природой. Обыкновенно такие государства как скоро возросли, так же скоро и падают: такова, например, судьба азиатских громадных государств. В другом месте видим, что государство начинается на ничтожном пространстве и потом, вследствие постепенной напряженности сил, от внутреннего движения в продолжение довольно долгого времени, распространяет свои владения на счет соседних стран и народов, образует громадное тело и наконец распадается на части вследствие самой громадности своей и вследствие отсутствия внутреннего движения, исчезновения внутренних живительных соков: таково было образование государства Римского. Образование всех этих громадных государств, какова бы ни была разница между ними, можно назвать образованием неорганическим, ибо они обыкновенно составляются нарастанием извне, внешним присоединением частей посредством завоевания. Иной характер представляется нам в образовании новых европей-

ских христианских государств; здесь государства, при самом рождении своем, вследствие племенных и преимущественно географических условий, являются уже в тех же почти границах, в каких им предназначено действовать впоследствии; потом наступает для всех государств долгий, тяжкий, болезненный процесс внутреннего возрастания и укрепления, в начале которого государства эти являются обыкновенно в видимом разделении, потом это разделение мало-помалу исчезает, уступая место единству: государство образуется. Такое образование мы имеем право назвать высшим, органическим" (т. IV, с. 363–367).

Поняв, что русское государство образовалось путем органическим, Соловьев с редким талантом осуществил намеченную им задачу, показал, как развивалось это органическое целое. Труд его объединен одной общей идеей, идеей развития, прогресса. Такую точку зрения он называл исторической, говоря, что без начала движения, начала развития нет истории. Соловьев не отделяет одной эпохи от другой, напротив, он ставит их в связь, показывает, как одни явления порождают другие, как события следуют друг за другом по законам необходимости. Он следит за развитием, ростом государства и вместе с тем за развитием, ростом народа, за постепенным уяснением сознания его о себе как едином целом.

Европейские народы движутся с востока на запад, а славянская колонизация идет наоборот, с запада на восток.

“История-мачеха заставила одно из древнейших европейских племен принять движение с запада на восток и населить те страны, где природа является мачехой для человека. В начале новой европейско-христианской истории два племени приняли господствующее положение и удержали его за собою навсегда, германское и славянское, племена-братья одного индоевропейского происхождения; они поделили между собой Европу, и в этом начальном дележе, в этом начальном движении немцев с северо-востока на юго-запад, в области Римской империи, где уже заложен был прочный фундамент европейской цивилизации, и славян, наоборот, с юго-запада на северо-восток, в девственные и обделенные природой пространства, – в этом противоположном движении лежит различие всей последующей истории обоих племен”.

Славяне колонизуют восточную равнину, они живут здесь отдельными племенами в родовом быту. История России, подобно истории других государств, начинается богатырским, или героическим, периодом, то есть вследствие известного движения – у нас вследствие появления варяго-русских князей и дружины их – темная безразличная масса народонаселения потрясается, и происходит выделение из нее лучших людей, по тогдашним понятиям, то есть храбрейших, одаренных большой материальной силой и чувствующих потребность упражнять ее. Это мужи – люди по преимуществу, тогда как остальные в глазах их остаются полулюдьми, маленькими людьми, мужиками. Вследствие слабости племен-

ного начала у славян и равнинности страны, помогающей слиянию, в этот первый богатырский период исчезают племена, вместо них появляются волости, княжения, с именами, заимствованными не от племен, а от главных городов, от правительственных, стянувших к себе окружное народонаселение, центров. Племенные союзы уничтожились, государственное единство еще не образовалось, волости, отстоящие далеко друг от друга, могли бы обособиться, если бы князья со своими дружинами не переходили постоянно с места на место. Они должны были передвигаться, того требовали родовые отношения. Князья разошлись по волостям, даже самым отдаленным, но единство рода сохранялось, главный стол принадлежал старшему в целом роде, а лучшие волости доставались по степени старшинства; отсюда князья – только временные владельцы в своих волостях; взоры их устремлены постоянно на Киев, и вместо стремления обособиться они считают величайшим несчастьем для себя, если принуждены выйти из общего родового движения. Таким образом, посредством родовых княжеских отношений, посредством беспрестанных передвижек князей и дружин их из одной области в другую народонаселение и самых отдаленных областей не могло высвободиться из общей жизни, постоянно имело общие интересы и укореняло в себе сознание о нераздельности русской земли. К единству политическому, державшемуся родовыми княжескими отношениями, присоединялось единство церковное. В том времени, которое с пер-

вого раза казалось временем разделения, розни, усобиц княжеских, Соловьев увидел время, когда положено было прочное основание народному и государственному единству.

“Во сто лет, протекшие от смерти Ярослава, мы видим, что преимущественно вследствие продолжения движения все элементы задержаны в своем развитии, налицо все первоначальные формы: бродячие дружины, члены их, свободно переходящие от одного князя к другому; в челе – дружины, неутомимые князья-богатыри, переходящие из одной волости княжить в другую, ищущие во всех странах честь свою взять, не помышляя ни о чем прочном, постоянном, не имея своего, но все общее, родовое; веча с первоначальными формами народных собраний без всяких определений; а тут, на границе, кочевники переходят к полуоседлости; немного далее, в степи, виднеются вежи и чистых кочевников. Всё здесь, на восточной равнине, отзывается первобытным миром, общество как будто еще в жидком состоянии, и нельзя предвидеть, в каком отношении найдутся общественные элементы, когда наступит время перехода из одного жидкого, колеблющегося состояния в твердое, когда всё усядется и начнутся определения”.

Затем Соловьев спрашивает: когда же и где именно, при каких условиях начались эти определения? Чтобы ответить на этот вопрос, он объясняет, каким образом центр государственной жизни перешел из Киева во Владимир. Карамзин думал, что предпочтение, отдаваемое северо-восточной Руси

перед Киевской, объясняется личным вкусом Андрея Боголюбского, питавшего нерасположение к юго-западной Руси, и личными достоинствами этого князя: “разум превосходный” заставил его стремиться к искоренению вредной удельной системы. Соловьев указывает на внутренние, органические причины, обусловившие дальнейший ход нашей истории. Несчастное положение юго-западной Украины, страдавшей от наплыва кочевников и от княжеских усобиц, необходимо заставляло часть ее жителей выселяться в страны более спокойные. Эти страны были именно отдаленные северо-восточные области русские, суровая климатом, бедная населением область верхней Волги, где князья, тяготясь малолюдностью, отовсюду призывали насельников, давали им льготы, строили им города. Вследствие недавней колонизации население на севере относилось к князю иначе, чем на юге.

“В западных областях славяне были старые насельники, старые хозяева, князья были пришельцы; на востоке, наоборот, славянские поселенцы являются в страну, где уже хозяйничает князь; князь строит городки, призывает насельников, дает им льготы: насельники всем обязаны князю, во всем зависят от него, живут на его земле, в его городах. Эти-то отношения народонаселения к князю и легли в основу того сильного развития княжеской власти, какое видим на севере. Явился и такой князь, который как нельзя лучше воспользовался своими выгодными отношениями к новому народонаселению, именно Андрей Боголюбский. Он переселя-

ется жить из старого города Ростова в новый Владимир-на-Клязьме, где нет веча, где власть княжеская не встретит преград. Андрей понимает очень хорошо значение слов “мое”, “собственность” и не хочет знать юга, где князья понимают только общее родовое владение. Андрей, как древний богатырь, чует силу, получаемую от земли, к которой он припал, на которой утвердился навсегда; он не покидает этой земли, не переезжает в Киев, когда тот достался ему и по родовым правам, и по правам победы. Этот первый пример привязанности к своему, особому, первый пример оседлости становится священным преданием для всех северных князей, и отсюда начинается новый порядок вещей”.

Таким образом зарождается сильная княжеская власть как естественное следствие всей предыдущей истории. Московский период в труде Соловьева представляет такую же органическую связь с Владимирским, как последний с Киевским. Преемники Боголюбского, брат его Всеволод и потомки последнего, верные преданию, полученному от первого самовластца, продолжают стремиться к единовластию.

“Вместо прежнего движения из одной волости в другую, какое мы видели в древней юго-западной России, – в России новой, северо-восточной, видим оседлость князей в одной волости; князь срастается с волостью, интересы их отождествляются, усобицы принимают другой характер, имеют другую цель, именно усиление одного княжества на счет всех других; при такой цели родовые отношения необходимо ру-

шатся, ибо тот, кто чувствует себя сильным, не обращает более на них внимания. Одно княжество наконец осиливает все другие, и образуется государство Московское".

Реформа Петра Великого находилась, по мнению Соловьева, в тесной связи со всей предыдущей историей, она не была его личным делом, а делом народным, вызванным необходимостью, подготовлявшимся со времени Иоанна Грозного. Нашу отчужденность от Европы и отсталость Соловьев объясняет не татарским игом, которому, по его мнению, придавали слишком большое значение, а ходом русской колонизации.

"Движение русской истории с юго-запада на северо-восток было движением из стран лучших в худшие, в условия более неблагоприятные. История выступила из страны, выгодной по своему природному положению, – из страны, которая представляла путь из северной Европы в южную, – из страны, которая поэтому находилась в постоянном общении с европейско-христианскими народами, посредничала между ними в торговом отношении. Но как скоро историческая жизнь отливает на Восток, в области верхней Волги, то связь с Европою, с Западом, необходимо ослабевает и порывается – не вследствие мнимого влияния татарского ига, а вследствие могущественных природных влияний: куда течет Волга, главная река новой государственной области, туда, следовательно, на Восток, обращено всё".

Следствием такой отчужденности нашей от Европы явля-

ется несостоятельность экономическая и умственная, банкротство бедной страны, не могущей своими средствами удовлетворить потребности своего государственного положения. Такое банкротство в историческом, живом, молодом народе необходимо обусловливало поворот народной жизни, поиски выхода из отчаянного положения.

“Сознание экономической несостоятельности, ведшее необходимо к повороту в истории, было тесно соединено с сознанием нравственной несостоятельности. Русский народ не мог оставаться в китайском созерцании собственных совершенств, в китайской уверенности, что он выше всех народов на свете уже по самому географическому положению своей страны: океаны не отделяли его от западных европейских народов. Побуждаемый силою обстоятельств, он должен был сначала уходить с запада на восток; но как скоро успел здесь усилиться, заложить государство, так должен был необходимо столкнуться с западными соседями, и столкновение это было очень поучительно. В то самое время, в то самое царствование, когда Восток, восточные соседи русского народа оказались совершенно бессильными пред Москвою, когда покорены были три татарских царства и пошли русские люди беспрепятственно по северной Азии вплоть до Восточного океана, в то самое царствование на Западе были страшные неудачи: на Западе борьба оканчивается тем, что Россия должна уступить и свои земли врагу. Стало очевидно, что во сколько восточные соседи сла-

бее России, во столько западные – сильнее. Это убеждение, подрывая китайский взгляд на собственное превосходство, естественно и необходимо порождало в живом народе стремление сблизиться с теми народами, которые оказали свое превосходство, позаимствовать от них то, чем они являлись сильнее, – сильнее западные народы оказались своим знанием, искусством, и потому надобно было у них выучиться. Отсюда с царствования Иоанна IV, именно с того царствования, когда над Востоком было получено окончательное торжество, но когда могущественный царь, покоритель Казани и Астрахани, обратив свое оружие к Западу, потерпел страшные неудачи, с этого самого царствования мысль о необходимости сближения с Западом, о необходимости добыть моря и учиться у морских народов становится господствующей мыслью правительства и лучших русских людей… Экономическая и нравственная несостоятельность общества были сознаны; народ живой и крепкий рвался из пеленок, в которых судьба держала его долее, чем следовало. Вопрос о необходимости поворота на новый путь решен; новости являлись необходимо".

Соловьев показывает нам, почему переворот должен был идти сверху, инициатива должна была исходить от верховной власти.

"Мы видим, – говорит он, – что всё и со всем обращается в Москву к Великому государю, и видим также ясно, что это обращение происходит необходимо от слабости, мел-

кости отдельных миров, от особности их друг от друга и в то же время от внутренней розни, происходящей при всяком соединении сил, при всяком общем действии, – одним словом, от детского состояния их, от детской беспомощности. Сверху дается полная свобода: всякое челобитье о каком-нибудь новом распорядке принимается, пусть распоряжаются как хотят; поссорятся – одни захотят одного, другие другого, – правительство приказывает спросить всех, чтобы узнать, чего хочет большинство. Мы упомянули о детской беспомощности; слово всего лучше объяснит тут дело: все тяглые, неслужилые люди называют себя сиротами государевыми – это низшая рабочая часть народонаселения, мужики; но высшая, военная, мужи, как себя называют? Они называют себя холопами государевыми. Понятно, что ни в беспомощных сиротах, ни в холопах нельзя искать силы и самостоятельности, собственного мнения. И те и другие чувствуют несостоятельность старого, понимают, что оставаться так нельзя, но при отсутствии просвещения не могут ясно сознавать, как выйти на новую дорогу, и не могут иметь инициативы, которая потому должна явиться сверху, повести дело должен Великий государь".

Заканчивая историю России в эпоху преобразований, Соловьев говорит о царствовании Петра Великого:

"Начертана была обширная программа на много и много лет вперед, начертана была не на бумаге: она начертана была на земле, которая должна была открыть свои богатства пред

русским человеком, получившим посредством науки полное право владеть ею; на море, где явился русский флот; на реках, соединенных каналами; начертана была в государстве новыми учреждениями и постановлениями; начертана была в народе посредством образования, расширения его умственной сферы, богатых запасов умственной пищи, которую ему доставил открытый Запад и новый мир, созданный внутри самой России. Большая часть сделанного была только в начале, иное в грубых очерках, для многого приготовлены были только материалы, сделаны были только указания, – поэтому мы назвали деятельность преобразовательной эпохи программой, которую Россия выполняет до сих пор и будет выполнять, уклонение от которой сопровождалось всегда печальными последствиями". Царствования Елизаветы Петровны и Екатерины II – необходимое следствие петровской реформы, – время, когда начинают усваиваться нами плоды европейской цивилизации. "Воздавая должное Екатерине, – говорит Соловьев, – не забудем, как много внутри и вне было приготовлено для нее Елизаветою".

По "Истории России с древнейших времен" мы можем проследить естественный рост, естественное развитие нашего отечества от Рюрика до Екатерины, и в этом конечно заключается главное достоинство труда Соловьева.

Герье, давший лучшую оценку сочинения Соловьева, справедливо заметил: "Мы мало знаем историков, которые до такой степени соединяли бы в себе два различных ин-

тереса, представляемых историей, – стремление к исследованию, к обогащению исторического материала с потребностью восстановить полный и цельный образ прошедшего, то есть чисто научный интерес с творческим. Среди страниц, передающих нам понятия, язык прошедших эпох, мы нередко встречаем художественные страницы, достойные великих мастеров". Художественной надо назвать всю первую половину тринадцатого тома, где представлен общий ход русской истории до эпохи преобразований. В высшей степени художественны характеристики многих исторических деятелей, в особенности Иоанна Грозного и Петра Великого. Прекрасно передавая характер эпохи, Соловьев на этом фоне изящной кистью рисует фигуры царей, отличающиеся тонкостью психологической отделки, тонким пониманием давно прошедшей жизни.

Герье назвал "Историю…" Соловьева национальной. Действительно, она заслуживает такого названия, потому что в ней верно схвачены черты и форма исторического развития нации, потому что она написана чисто русским ученым, дорожившим основными устоями русской жизни, потому что она проникнута любовью к своему народу. Значение, придававшееся Соловьевым православию, видно из следующего места:

"И вот Рим, пользуясь бедствием Византии, устраивает дело соединения церквей. Исидор, в звании митрополита всея Руси, подписывает во Флоренции акт соединения;

но в Москве этот акт отвергнут, здесь решились остаться при древнем благочестии: одно из тех великих решений, которые на многие века вперед определяют судьбы народов. Верность древнему благочестию, провозглашенная Великим князем Василием Васильевичем, поддержала самостоятельность северо-восточной Руси в 1612 году, сделала невозможным вступление на московский престол польского королевича, повела к борьбе за веру в польских владениях, произвела соединение Малой России с Великою, условило падение Польши, могущество России и связь последней с единоверными народами Балканского полуострова" (т. IV, с. 372).

Любовь к родине и вера в мощь русского народа сказываются не раз на страницах "Истории России…".

Но национальное направление Соловьева никак не следует смешивать со славянофильством, которого он чуждался и которое считал крайностью; его патриотизм был далек от самодовольства, от одностороннего восхваления своего народа. Он сам предупреждал против такого увлечения, говоря следующее:

"Конечно, для славянина, т. е. преимущественно для русского, есть сильное искушение предположить, что племя, которое при всех самых неблагоприятных условиях умело устоять, окруженное варварством, умело сохранить свой европейско-христианский образ, образовать могущественное государство, подчинить Азию Европе, что такое племя обнаружило необыкновенное могущество духовных сил, и есте-

ственно рождается вопрос: племя германское, поставленное в таких неблагоприятных условиях, сумело ли бы сделать то же самое? Но неприятное восхваление своей национальности, какое позволяют себе немецкие писатели, не может увлечь русских последовать их примеру” (т. XIII, с. 8).

В труде Соловьева, как во всяком деле человеческом, есть, конечно, недостатки: последние тома – преимущественно царствование Екатерины – проработаны менее тщательно, чем первые восемнадцать томов, некоторые его взгляды (например родовая теория) нуждаются в оговорках и поправках. Но достоинства “Истории России с древнейших времен” таковы, что она едва ли когда-нибудь потеряет свое значение, а за автором ее навсегда сохранится место первого русского историка XIX века.

ГЛАВА IV

Сочинения по философии истории

Несмотря на то, что двадцать девять томов “Истории России…” – такой труд, который немногим удается осуществить даже в течение очень долголетней жизни, – Соловьев успел издать еще несколько книг. Кроме упомянутых уже сочинений об Александре I и Польше, он написал общедоступные чтения по русской истории, два учебника: русской истории, переведенный, между прочим, на французский язык и представляющий собой отличное пособие для студентов, и курс новой истории. В разных журналах он помещал статьи по русской и всеобщей истории, которые впоследствии вошли в его “Историю…” и другие книги, множество мелких заметок и рецензий рассеяно по разным периодическим изданиям, – статьи эти после появления капитальных трудов автора, конечно, потеряли свое значение. Не потеряли своего значения очерки по историографии, где дана оценка русских историков прошлого и XIX века: Татищева, Ломоносова, Щербатова, Болтина, Миллера, Карамзина, Шлецера. Статьи эти, очень важные для специалистов, до сих пор не изданы отдельно и их приходится разыскивать в разных журналах пятидесятых годов. Общий интерес и важное значение для характеристики исторических воззрений Соловьева имеют ста-

тьи, относящиеся к области философии истории и переизданные в книге, озаглавленной: “Сочинения С. М. Соловьева. СПб., 1882”.

Вся эта книга, с начала до конца написанная прекрасным слогом, читается очень легко; своими широкими обобщениями она приковывает внимание читателя и, конечно, она в значительной степени способствовала развитию нашего общества. В статьях под заглавием “Начала Русской земли”, начатых за два года до смерти, Соловьев думал дать полную философию русской истории; к сожалению, он успел написать только две главы. Тут, между прочим, автор нашу отсталость, медленность нашего развития объясняет обширностью территории.

“Россия, – говорит он, – есть обширнейшее государство в мире, заучиваем мы с малолетства; в летах зрелых стараемся уразуметь смысл этих слов. Чрезвычайная величина органического тела заставляет предполагать особенные условия для поддержания его строя, равновесия частей, заставляет опасаться за существование этих условий в достаточной степени, за прочность тела, заставляет опасаться возможности раннего его распадения. Если обширное государство произошло путем завоевания разных народов одним каким-либо, то непрочность его очевидна; если произошло путем распространения одного народа по обширной стране, – народа, постепенно крепнувшего в своем государственном строе, – то это явление предполагает чрезвычайную медлен-

ность движения, отсталость сравнительно с другими государствами, занимающими меньшую область, ибо все государственные отправления в обширной области должны совершаться медленно, особенно когда государство представляет обширную страну с относительно небольшим, разбросанным по ней, народонаселением; при таком отношении в несплоченные ряды народонаселения удобно проникают чуждые, неудобоваримые в народном организме элементы; кроме того, несплоченные части народонаселения должны приводиться в связь и общее движение внешней силой, отчего правительственная деятельность должна достигать крайнего напряжения, не встречая подмоги в крепко сплоченной массе народонаселения. Внутренний процесс развития совершается здесь чрезвычайно медленно, равновесие между частями устанавливается очень нескоро, жизненные силы народа по разным обстоятельствам приливают то к тому, то к другому концу, вследствие чего происходит перенесение правительственных центров, столиц, из одного угла в другой, что именно необходимо в обширной стране: в небольшой комнате владелец ее, сидя в средине или в одном углу, легко видит все, что делается вокруг него, и все у него под руками, далеко ходить не нужно; в помещении обширном с середины, а тем менее из угла не видно, что происходит в других частях здания; имея надобность в чем-нибудь находящемся в одном углу, должно совершать туда долгие переходы и остановки”.

Уже раньше, в пятидесятых годах, Соловьев дал характеристику допетровской Руси в статье “Древняя Россия”, и в публичных чтениях об установлении государственного порядка в России представил общий ход русской истории до Петра Великого. Продолжением этих статей можно считать публичные лекции о Петре Великом, читанные в 1872 году после появления соответствующих томов “Истории России…” и дополняющие их; по этому сочинению легче и удобнее ознакомиться с деятельностью великого преобразователя, потому что подробности опущены и реформа представлена в крупных чертах. “Исторические письма”, направленные против отрицания благ цивилизации и прогресса, и “Наблюдения над исторической жизнью народов” дают много сведений по всеобщей истории и много общих мыслей. В последнем обширном исследовании, оставшемся, к сожалению, неоконченным, Соловьев представил типические черты восточных стран и народов: Китая, Египта, Ассирии и Вавилона, Финикии, арийцев в Азии, а также Греции и Рима, галлов и германцев. Тут разбросано немало оригинальных взглядов, из которых некоторые получили впоследствии подтверждение в работах известного историка Фюстеля де Куланжа.

Соловьев смотрел на задачу историка очень широко.

“История есть наука народного самопознания, – говорит он. – Но самый лучший способ для народа познать самого себя – это познать другие народы и сравнить себя с ними;

познать же другие народы можно только посредством познания их истории. Познание это тем обширнее и яснее, чем большее число народов становится предметом познавания, и естественно рождается потребность достигнуть полноты знания, изучить историю всех народов, сошедших с исторической сцены и продолжающих на ней действовать, изучить историю всего человечества, и таким образом история становится наукой самопознания для целого человечества".

Но для того, чтобы история была действительно такой наукой, историк должен изучать прошлое беспристрастно, не подчиняясь интересам настоящей минуты, не искажая исторических явлений, не затемняя, не извращая законов их. Историк должен обращать внимание на все стороны народной жизни.

"Успех в изучении истории зависит от многосторонности взгляда; ошибки происходят не от неправильности только взгляда вообще, но оттого, что мы глядим на одну сторону явления и спешим из этого рассматривания вывести наше заключение, вывести общие законы, объявляя другие взгляды, т. е. взгляды на другие стороны явления, ложными. Взгляд вполне правильный есть взгляд всесторонний". Историк должен обращать внимание на природу страны, так как влияние ее на жизнь народа бесспорно; но народ не находится в исключительной зависимости от природы, он изменяет природные условия, выбирает местность, которая представляется ему наиболее подходящей, поэтому нельзя терять из виду

характер, природные наклонности народа. Историк должен следить за умственным развитием страны, он должен уяснить, что сделало эту страну способной к умственному развитию, вследствие чего умственное развитие приняло то или другое направление. Но нельзя ограничиться одной этой стороной. Правительство представляет существенную сторону жизни народа. “Правительство в той или другой форме своей есть произведение исторической жизни известного народа, есть самая лучшая поверка этой жизни. Как скоро известная форма правительственная не удовлетворяет более потребностям народной жизни в известное время, она изменяется с большим или меньшим потрясением всего организма народного. Правительство, какая бы ни была его форма, представляет свой народ, в нем народ олицетворяется, и потому оно было, есть и будет всегда на первом плане для историка. Распоряжения правительства, его удачные меры или ошибки могущественно действуют на народ, содействуют развитию народной жизни или препятствуют ему, принося благоденствие большинству или меньшинству, или навлекают на них бедствия. Вот почему характеры правительственных лиц так важны для историка, так внимательно им изучаются, будь то неограниченный монарх, будь то любимец этого монарха, будь то ораторы, вожди партий в представительных собраниях, министры, поставленные во главе управления перевесом той или другой партии в народном представительстве, будь то президент республики… Историк, имеющий на пер-

вом плане государственную жизнь, на том же плане имеет и народную жизнь, ибо отделять их нельзя: народные бедствия не могут быть для него неважными чертами уже и потому, что они имеют решительное влияние на государственные отправления, затрудняют их, бывают причинами расстройств государственной машины, что вредным образом действует на народную жизнь".

Однако народная масса не может быть непосредственно наблюдаема историком, – он изучает ее только в лице ее представителей, вождей народных движений.

В чем же видел Соловьев сущность исторического процесса? В развитии, в прогрессе. Правда, он отрицал бесконечный прогресс, или, лучше сказать, он находил, что бесконечный прогресс нельзя считать научным выводом, потому что этот вывод не опирается на твердые научные данные. По его мнению, европейские народы, следуя общим законам природы, должны когда-нибудь вымереть, и мы не имеем права утверждать, что племена монгольские, малайские или негритянские могут перенять у арийского племени дело цивилизации и вести его дальше. Но историческими народами он называл те, которые имеют способность развиваться. Соловьев сравнивал народную жизнь с постоянно развивающимся организмом.

"Ряд изменений, замечаемых при развитии семени в дерево или яйца в животное, состоит в движении от простоты и однообразия устройства к его разнообразию и сложности. На

первой ступени каждый зародыш состоит из вещества однообразного во внутреннем составе и внешнем строении. Первый шаг в развитии обозначается появлением различия между частями этого вещества; потом каждая из различившихся частей начинает в свою очередь обнаруживать различие частей. Процесс этот беспрестанно повторяется и через бесконечное умножение такого выделения частей образуется наконец сложная сеть тканей и органов, составляющих животное или растение в полном его развитии. Это появление, которое мы называем прогрессом, – общее всем организмам, как природным, так и общественному. В обществе, на низкой ступени развития находящемся, дикарь производит сам все для себя нужное; но потом постепенно является разделение занятий, образуются отдельные органы общественные. В обществах, не довольно развитых, первосвященник и государь слиты в одном лице, религиозные и гражданские законы смешаны; в силу прогресса все это мало-помалу различается, разделяется. Тот же самый прогресс в языке: от однозвучия животных – до членораздельных звуков человеческих. Но прогресс не состоит в одном бесконечном членоразделении: для образования организма необходимо, чтобы части, органы, выделяясь, обозначаясь, находились в тесной связи между собою; отдельного, тем менее враждебного положения они иметь не могут; движение, жизнь, прогресс условливаются соединением, следствие одиночества – бесплодие, неподвижность. Чем развитее организм, чем разви-

тее его члены, органы, тем в более тесной связи находятся они друг с другом, тем менее для них возможности одиночного существования. Этот общий закон организма имеет силу и в применении к высшему из организмов – организму общественному; но если среди организмов природных чем выше организм, тем с большей медленностью развивается, тем большего требует для себя старания, ухода, то нечему удивляться, что организм общественный так медленно совершенствуется, что истины относительно его образования достаются человечеству с большим трудом" ("Сочинения", с. 226, 227).

В жизни народов, по мнению Соловьева, как в жизни каждого живого организма, как в жизни человека, можно различать разные возрасты, преимущественно юность и возмужалость (за которой следуют неизбежно старость и смерть), период чувства и период мысли.

"В жизни исторических, доступных развитию народов заключаются одинакие явления, одинакие периоды, потому что каждый народ проходит известные возрасты, развивается по тем же законам, по каким развивается и отдельный человек. В первой половине народ живет, развивается преимущественно под влиянием чувства: это время – его юность, время сильных страстей, сильного движения, имеющего результатом зиждительность, творчество политических форм. Здесь, благодаря сильному огню, куются памятники народной жизни в разных ее сферах или по крайней мере закла-

дываются прочные фундаменты этих памятников. Наступает вторая половина народной жизни: народ мужает, и господствовавшее до сих пор чувство уступает мало-помалу свое господство мысли. Таким образом, в жизни исторических, развивающихся народов мы признаем два периода: период чувства и период мысли; разумеется, мы так выражаемся для краткости, собственно мы разумеем период господства чувства и период господства мысли. Сомнение, стремление поверить то, во что прежде верилось, что признавалось истинным, задать вопрос – разумно или неразумно существующее, – потрогать, пошатать, что считалось до сих пор непоколебимым, знаменует вступление народа во второй период, период мысли" ("Сочинения", с. 433).

Понятно, что при взгляде на историю как на внутренний процесс, происходящий в народном организме, Соловьев не мог приписывать великим людям преувеличенного значения; но в то же время он указывал на влияние, какое отдельные личности имеют на общий ход истории. Вот прекрасная страница, где выяснено значение великих людей.

"Бывают в жизни народов времена, по-видимому, относительно тихие, спокойные: живется, как жилось издавна, и вдруг обнаруживается необыкновенное движение, и дело не ограничивается движением внутри известного народа, оно обхватывает и другие народы, которые претерпевают на себе следствия движения известного народа. Человека, начавшего это движение, совершавшего его, человека, по име-

ни которого знают его народ современники, по имени которого знают его время потомки, – такого человека называют великим. В то время, когда народы живут в первый возраст своего бытия, возраст юный, для большинства народного очень продолжительный, когда люди поддаются господству чувства и воображения, тогда великие люди являются существами сверхъестественными, полубогами. Понятно, что при таком представлении великий человек является силой, не имеющей никакого отношения к своему веку и своему народу, – силой, действующей с полным произволом: народ относится к ней совершенно страдательно, бессознательно, безусловно подчиняется ей, страдательно носит на себе все следствия ее деятельности; великому человеку принадлежит почин во всем, он создает, творит все средствами своей сверхъестественной природы. Христианство и наука дают нам возможность освободиться от такого представления о великих людях. Христианство запрещает нам верить в богов и полубогов, наука указывает нам, что народы живут, развиваются по известным законам, проходят известные возрасты, как отдельные люди, как все живое, все органическое; что в известные времена они требуют известных движений, перемен, более или менее сильных, иногда отзывающихся болезненно на организме, смотря по ходу развития, по причинам, коренящимся во всей предшествовавшей истории народа. При таких движениях и переменах, при таком переходе народа от одного порядка жизни своей к другому,

из одного возраста в другой, люди, одаренные наибольшими способностями, оказывают народу наибольшую помощь, наибольшую услугу: они яснее других сознают потребность времени, необходимость известных перемен, движения, перехода и силой своей воли, своей неутомимой деятельности побуждают и влекут меньшую братию, тяжелое на подъем большинство, робкое перед новым и трудным делом. Как люди, они должны и ошибаться в своей деятельности, и ошибки эти тем виднее, чем виднее эта деятельность; иногда по силе природы своей и силе движения, в котором они участвуют на первом плане, они ведут движение за пределы, назначенные народной потребностью и народными средствами, – это производит известную неправильность, остановку в движении, часто заставляет делать шаг назад, что мы называем реакцией; но эта неправильность временная, а заслуга вечная, и признательные народы величают таких людей великими и благодетелями своими. Таким образом, великий человек является сыном своего времени, своего народа; он теряет свое сверхъестественное значение, его деятельность теряет характер агучайности, произвола, он высоко поднимается как представитель своего народа в известное время, носитель и выразитель народной мысли; деятельность его получает великое значение как удовлетворяющая сильной потребности народной, выводящая народ на новую дорогу, необходимую для продолжения его исторической жизни. При таком взгляде на значение великого человека и его деятельно-

сти высоко поднимается народ: его жизнь, история является цельной, органической, неподверженной произволу, капризу одного сильного средствами человека, который может остановить известный ход развития и толкнуть народ на другую дорогу, вопреки воле народной. История народа становится достойной изучения, представляет уже не отрывочный ряд биографий, занимательных для воображения людей, остановившихся на детском возрасте, но дает связное и стройное представление народной жизни, питающее мысль зрелого человека, который углубляется в историю как науку народного самопознания" ("Сочинения", с. 89, 90).

В приведенном отрывке выражен вполне исторический взгляд на великого человека, примиряющий крайние воззрения, несогласный с теми, для кого история есть исключительно дело героев, и с теми, кто отрицает всякое значение отдельной личности и влияние ее на общий ход событий.

Признавая блага цивилизации и необходимость прогресса, Соловьев, естественно, не мог согласиться с теми, кто восхвалял старинные порядки и призывал общество не к дальнейшему развитию, а к возвращению назад. Он восставал против наделавшей у нас много шума книги известного немецкого писателя Риля, который советовал своим соотечественникам вернуться к первобытной жизни, восхищался цельностью и глубокомыслием[1] древнегерманского начала,

---

[1] здесь: проницательность созерцания, способность к отвлеченным умозаключениям (В. Даль)

еще не подвергшегося влиянию христианства, и видел в крестьянах верных хранителей старины.

Восставая против германофильства, Соловьев не мог сочувствовать славянофильству, в котором видел точно такое же противодействие прогрессу. Единственная его полемическая статья под заглавием “Шлецер и антиисторическое направление” написана с целью доказать ненаучность исторических взглядов славянофилов (в “Русском вестнике”, 1857, № 8). По мнению Соловьева, русский народ – прежде всего народ европейский.

“Мы – европейцы, и ничто европейское не может быть нам чуждо… Русский народ, как народ славянский, принадлежит к тому же великому арийскому племени – племени-любимцу истории, как и другие европейские народы, древние и новые, и, подобно им, имеет наследственную способность к сильному историческому развитию”.

Русские люди древнего допетровского времени не были варварами. Варварский народ тот, который сдружился с недостатками своего общественного устройства, не может понять их, не хочет слышать ни о чем лучшем; напротив, народ никак не может называться варварским, если он при самом неудовлетворительном общественном состоянии сознает эту неудовлетворительность и стремится добиться порядка лучшего. Предки наши никогда не утрачивали европейско-христианского образа, всегда были борцами за цивилизацию. Допуская, что русский народ развивался, как все

европейские народы, нельзя признавать научными мнения славянофилов, будто древнее русское общество выше нового, будто существовало какое-то самобытное русское просвещение, от которого мы отказались в новое время, и вследствие заимствованного нами чуждого нам европейского образования явилось неуважение к святости правды, будто петровская реформа совершилась насильственно, Петр совратил народ с настоящего пути, будто мы должны чуждаться Европы, храня свою самобытность; это равносильно отрицанию науки и просвещения, это – протест против прогресса. На это Соловьев возражал:

"Нас упрекнут в повторении вещей всем известных, если мы скажем, что назначение человека – жить в обществе, что только в обществе себе подобных при постоянном и беспрепятственном размене мыслей и плодов своей деятельности, при разделении занятий, при взаимном вспомоществовании может он развивать свои способности, извлекать из них всевозможное для себя и для других добро. Но что справедливо в отношении к одному человеку, то справедливо и в отношении к целому народу, который также может развиваться и совершенствовать свой быт и в нравственном, и в материальном отношении только в обществе других народов. Что мы замечаем в народе, который живет особняком? Необходимо застой, ибо только разнообразное, новое, противоположное оживляет мысль и деятельность народа; однообразие форм, господствующее в народе, который живет особня-

ком, необходимо усыпляет мысль и заставляет смотреть человека и целый народ на это постоянство форм как на нечто необходимовечное, носящее в самом себе условие самостоятельности и вечности, – одним словом, как на нечто божественное. У народов языческих это ведет прямо к обоготворению форм и отношений, постоянно существующих, освященных этим постоянством, долговременностью; но и народы христианские, если долго живут особняком, не освобождаются от суеверного поклонения формам, обряду, букве, чему ясным доказательством служит русское раскольничество, естественный и необходимый плод особной жизни народа. Итак, если человек для полноты своего человеческого развития должен жить в обществе себе подобных, если народ для полноты своего народного развития должен жить в обществе других народов, то вопрос решен о значении петровской эпохи – эпохи преобразования, вопрос решен об отношениях древней России к новой. Древнее русское общество, несмотря на величие подвигов, совершенных им в деле внешнего государственного созидания, в преодолении препятствий, этому созиданию противопоставленных, не могло двигаться далее на пути нравственных и материальных улучшений, не вступив в семью европейско-христианских народов, да и по характеру своему не могло не вступить в эту семью при первой возможности. Следствия особной жизни так явны в нашей древней истории, что о них не нужно много распространяться: бессознательное, суеверное подчине-

ние обычаю, обряду, форме, букве, ослабление веры в дух, который живет, слишком явны" ("Шлецер и антиисторическое направление", с. 461–464).

Соловьев доказывал славянофилам, что их взгляд на Петра Великого так же ненаучен, как и другое старинное заблуждение, будто Петр привел Россию от небытия к бытию.

"Люди, которые обнаружили несочувствие к делу Петра, вместо противодействия крайности приведенного взгляда перегнули дугу в противоположную сторону; крайности сошлись, и опять надобно было проститься с историей. Россия по новому взгляду не только не находилась в небытии до Петра, но наслаждалась бытием правильным и высоким, все было хорошо, нравственно, чисто и свято; но вот явился Петр, который нарушил правильное течение русской жизни, уничтожил ее свободный, народный строй, попрал народные нравы и обычаи, произвел рознь между высшими и низшими слоями народонаселения, заразил общество иноземными обычаями, устроил государство по чужому образу и подобию, заставил русских людей потерять сознание о своем, о своей народности. Опять божество, опять сверхъестественная сила, опять исчезает история народа, развивающаяся сама из себя по известным законам, при влиянии особенных условий, которые отличают жизнь одного народа от жизни другого" ("Сочинения", с. 91).

В развитии народов Соловьев придавал большое значение духовному началу и в материализме, часто господствующем

в обществе, видел причину, приводящую к старческому бессилию и смерти.

“Материализм, – говорит он, – и неизбежная притом односторонность, узкость, мелкость взгляда наводнили общество: удовлетворение физических потребностей становится на первом плане, человек перестает верить в свое духовное начало, в его вечность, перестает верить в свое собственное достоинство, в святость и неприкосновенность того, что лежит в основе его человечности, его человеческой, т. е. общественной жизни, является стремление сблизить человека с животным, породниться с ним; печной горшок становится дороже бельведерского кумира, удобство, нежащее тело, предпочтительнее красоты, возвышающей дух; при таком направлении живое искусство исчезает, заменяется мертвой археологией; вместо стремления поднять меньшую братию является стремление унизить всех до меньшой братии, уравнять всех, поставив на низшую ступень человеческого развития; а между тем стремление выйти из тяжкого положения, выйти из мира, источенного дотла червем сомнения и потому рассыпающегося прахом, стремление найти что-нибудь твердое, к чему бы можно было прикрепиться, т. е. потребность веры, не исчезает, и подле неверия видим опять суеверие, но не поэтическое суеверие народной юности, а печальное, сухое, старческое суеверие”. Человек не может жить одним разумом, и религия является для него необходимостью. “Религиозное чувство утверждается на неверии, на неверии

в средства человека, в средства его разума, неверии, основанном на ежедневном и вековом, вечном опыте; религиозный человек есть человек положительный, который не может стоять на колеблющейся, изменяющейся почве, который не может успокоиться на вере в бесконечный прогресс, потому что в основании ее видит одно предположение постоянно выгодных условий для явления, – предположение произвольное, не утвержденное на точных наблюдениях. Человек нерелигиозный не верит в так называемые сверхъестественные явления, необходимые для положительной религии, требующей непосредственного участия Божества в ее установлении; он верит в средства разума человеческого". Христианство вполне успокаивает религиозного человека, потому что ставит наивысшее основание нравственности – любовь, основание незыблемое, вечное при всевозможных изменениях отношений между людьми, при всевозможных изменениях политических форм, на всевозможных ступенях цивилизации" ("Сочинения", с. 435, 443).

Соловьев посвятил отдельную статью доказательству того положения, что в сфере религии не может быть прогресса; верить можно только в абсолютное, истинное, и так как христианство обладает абсолютной истиной, то, по его мнению, совершенствоваться может только человечество, приближаясь к религиозному идеалу, а никак не сама религия.

"Христианство, поставив такое высокое нравственное требование, которому человечество, по слабости своих

средств, удовлетворить не может, по тому самому есть религия вечная. Известная религия тогда только может уступить место другой, высшей, когда человечество в своем развитии переступит ее требования, которые окажутся ниже его нравственных стремлений, как и действительно случилось с религиями наиболее развитых народов древности перед пришествием Спасителя; но когда требования, выставленные религией, так высоки, что пребудут для человечества недосягаемым идеалом, то какое основание мечтать о какой-то новой, высшей, религии? Позволительна ли такая мечта на основании прогресса, когда прогресс именно условливается недосягаемостью идеала? Таким образом, прогресс нисколько не противоречит христианству, ибо он есть произведение слабости человеческих средств и высоты религиозных требований, поставленных христианством; христианство поднимает человечество на высоту, и это-то стремление человечества к идеалу, выставленному христианством, есть прогресс в мире нравственном и общественном" ("Прогресс и религия".– "Сочинения", с. 282, 284).

Соловьев ратовал за прогресс, он ополчался на тех, кто призывал наше общество вернуться назад, к стародавним порядкам, он старался противодействовать материализму, поддержать веру в идеал, в торжество добра и правды. Широкий взгляд на историю и ее задачи, гуманные начала, которые он проповедовал, придают его сочинениям большое культурное значение, – в результате не только как автору "Истории Рос-

сии…”, но и как поборнику истинного просвещения, как историку-мыслителю ему должно быть отведено почетное место в истории нашей литературы.

ГЛАВА V

Образ мыслей. – Образ жизни. – Характер С. М. Соловьева

В ранней молодости Соловьев, как было уже сказано, увлекался славянофильством и русофильством, узким национализмом и ложно понятым патриотизмом. Серьезные занятия историей скоро убедили его, что он стоит на ложном пути, и после защиты магистерской диссертации он примкнул к западникам. Главой этого кружка был Грановский, вокруг которого группировались самые выдающиеся профессора сороковых и пятидесятых годов, люди талантливые, европейски образованные, ученые, оставившие после себя крупный след, обогатившие русскую науку ценными произведениями: Кавелин, Редкий, Кудрявцев, Бабст, Чичерин; к кружку западников принадлежали в то время и Катков с Леонтьевым. Общество молодых профессоров особенно сплотилось в тяжелые для России годы, наступившие после Французской революции 1848 года (1848–1855). Дружба молодых людей помогла им пережить тяжелое время, не теряя веру в идеал и надежду на лучшее будущее, которое действительно наступило. Профессор Герье, хорошо знавший кружок западников, написал о них следующую прекрасную страницу:

“В те дни, когда Соловьев готовился к своему призванию, внимание русского общества занимал вопрос об отношениях русского народа к другим европейцам, национального духа к общечеловеческому просвещению, и различные взгляды на этот предмет выразились в литературных направлениях и партиях. Приверженцы европейского, общечеловеческого были названы западниками – название одностороннее, неправильное, потому что указывало на внешний признак явления, упуская из виду его сущность; название несправедливое, потому что заключало в себе укор, а укор мог только относиться к увлечению, к злоупотреблениям новым принципом, которые вовсе не вытекали из самого принципа, в самом себе верного. Западники тридцатых-пятидесятых годов имели право на совершенно иное название. Это были русские гуманисты. Нет основания приурочивать этот термин исключительно к эпохе Ренессанса, к людям, проводившим тогда в европейском обществе греко-римскую образованность. Их деятельность положила собственно только начало европейскому гуманизму. Идеалы гуманизма развивались и расширялись под влиянием европейской науки и европейской мысли. Само понимание классического мира и его цивилизации сделалось со временем вернее и глубже. Итальянские гуманисты XV и XVI веков искали свои идеалы преимущественно в Риме, и здесь отчасти в эпохе перерождения и падения античной цивилизации. Высший цвет этой цивилизации был раскрыт только в XVIII веке, когда основа-

ние новой эпохи гуманизма было положено Винкельманом. На этом гуманизме воспитались классические поэты Германии: Лессинг, Гердер, Шиллер и Гёте, которые внесли гуманистический элемент в немецкую литературу и этим подняли культуру немецкую, дали ей мировое значение. Здесь гуманизм получил иной, более широкий смысл, что выразилось уже в самом изменении значения слова “гуманный”; классический гуманизм сделался лишь одним из составных элементов европейского гуманизма, то есть гуманного, общечеловеческого начала. В этот европейский гуманизм стали тогда входить две новые живительные струи – идеалистическая философия, которая внесла в духовный мир человека понимание истории, идею законного, мирного, органического развития, идею прогресса, и политический либерализм, которому положил прочное основание переворот 1789 года. Этот обогащенный, облагороженный новыми идеями XIX века гуманизм, продукт европейской общечеловеческой цивилизации, – вот что пытались провести в наше общество русские гуманисты, так называемые западники сороковых годов. Не замену национального западным ставили они себе целью, а воспитание русского общества на европейско-универсальной культуре, чтобы поднять национальное развитие на степень общечеловеческого, дать ему мировое значение”.

В 1846 году Соловьев попал в кружок славянофилов по следующему поводу. Константин Аксаков писал историческую драму “Освобождение Москвы 1612 года” и пожелал

выслушать мнение специалиста. Он пригласил к себе Соловьева и, когда тот лестно отозвался о его драме, воспылал к нему дружбой, стал ходить к нему на лекции и считать его “своим”. Соловьев действительно посещал нередко дом его отца, С. Т. Аксакова, где бывало много народу и где все весело проводили время. Тут он познакомился с корифеями славянофильства: Хомяковым, Кошелевым, Киреевским, Иваном Аксаковым, но большой симпатии он к ним никогда не питал; он считал их людьми несерьезными, недостаточно образованными, многих признавал легкомысленными болтунами. Взгляды их он находил неисторическими, не мог мириться с их восхвалением Древней Руси, с их отрицательным отношением к европейскому образованию и реформе Петра Великого. Хотя Соловьев по своим воззрениям больше подходил к западникам, но у него были точки соприкосновения и со славянофилами. Тогда как западники не придавали никакого значения религии, Соловьев не только дорожил религией вообще, но и православием в частности. В нашей истории православие, по мнению Соловьева, сыграло важную роль: оно могущественно содействовало утверждению самодержавия, оно помешало королевичу польскому Владиславу стать русским царем в 1612 году, оно отняло Малороссию у Польши и дорушило последнюю, собрав всю Восточную Европу в одно целое под именем России. Сравнивая православие с католицизмом и протестантизмом, он безусловно становится на сторону первого. Католицизм, по

его мнению, препятствует движению народа вперед, никак не может ужиться с новыми потребностями жизни, а деятельность его духовенства отличается неприятным полицейским характером. О протестантизме же он высказался, следующим образом характеризуя деятельность Лютера в своем курсе новой истории.

“Страстный, увлекающийся, раздраженный борьбою на жизнь и на смерть, Лютер шел все дальше и дальше. Подле законного требования уничтожения светской власти папы, требования самостоятельности национальных церквей, требования брака для духовенства, приобщения под обоими видами (телом и кровью Христовыми) Лютер высказывает сомнения относительно пресуществления, вооружается против седмеричного числа таинств; вооружаясь против наростов, образовавшихся в западной латинской церкви, он стал касаться верований церкви вселенской, и по какому праву? Вселенская церковь утверждает свои верования на вселенских соборах, путем единственно законным; а реформатор общему соглашению противопоставил личное мнение, личный произвол, что вело, вместо очищения церкви, к революции, к анархии. Опасный шаг был сделан. Пользуясь провозглашенной свободой в объяснении Св. Писания, всякий мог объяснять его как ему угодно; авторитет церкви отвергнут; граница между свободой и своеволием не указана. Если, по слабости человеческой природы, авторитет стремится перейти в деспотизм, то, с другой стороны, свобода, отрешив-

шись от авторитета, стремится перейти в своеволие, в анархию, стремится к освобождению человека от всевозможных авторитетов, от всевозможных связей".

Под этими строками с удовольствием подписались бы Хомяков и Аксаков.

Понятно, что, примкнув к кружку западников, Соловьев не помещал своих статей в славянофильских журналах, но участвовал только в органах прогрессивных, умеренно либеральных. В сороковых годах он работал в "Современнике" и в "Отечественных записках", в пятидесятых годах – в тех же журналах (до 1857 года) и в "Русском вестнике" (до 1865 года) до тех пор, пока этот журнал не принял особенной, несимпатичной Соловьеву, окраски. С 1868 года он начал работать в "Вестнике Европы", отдавая свои статьи или в этот журнал, или в специальные издания, избегая органов крайнего направления. Соловьев писал исключительно статьи исторические, в которых не любил уклоняться в сторону и говорить о современности. Только раз он обмолвился следующими фразами, не имевшими прямого отношения к предмету, о котором он писал:

"Настоящее правительство не задерживает свой народ, не видит настоящего народа только в неподвижной массе; оно вызывает из массы лучшие силы и употребляет их на благо народа; оно не боится этих сил, оно в тесном союзе с ними. Чтобы не бояться ничего, правительство должно быть либерально, чтобы поддерживать и развивать в народе жизнен-

ные силы, постоянно кропить его живою водою, не допускать в нем застоя, следовательно гниения, не задерживать его в состоянии младенчества, нравственного бессилия, которое в минуту искушения делает его неспособным отразить удар, встретить твердо и спокойно, как прилично мужам, всякое движение, всякую новизну, критически относиться к каждому явлению; народу нужно либеральное, широкое воспитание, чтобы ему не колебаться, не мястись при первом порыве ветра, не восторгаться первым громким и красивым словом, не дурачиться и не бить стекол, как дети, которых долго держали взаперти и вдруг выпустили на свободу. Но либеральное правительство должно быть сильно, и сильно оно тогда, когда привлекает к себе лучшие силы народа, опирается на них; правительство слабое не может проводить либеральных мер спокойно, оно рискует подвергнуть народ тем болезненным припадкам, которые называются революциями, ибо, возбудив, освободив известную силу, надобно и направить ее. Правительство сильное имеет право быть безнаказанно либеральным, и только люди очень близорукие считают нелиберальные правительства сильными, думают, что эту силу они приобрели вследствие нелиберальных мер. Давить и душить очень легкое дело, особенной силы здесь не требуется. Дайте волю слабому ребенку, и сколько хороших вещей он перепортит, перебьет и переломает. Обращаться с вещами безжизненными очень просто; но другие приемы, потруднее и посложнее, требуются при обращении с телом живым,

при охранении и развитии жизни” (“История Александра I”, с. 197, 198).

Соловьев говорил сам о себе, что его считали либералом в царствование Николая и консерватором в царствование Александра II. Это совершенно понятно. Соловьев был цельным человеком, имевшим очень твердые, но умеренные убеждения. Мнения, казавшиеся опасными в николаевское время, в шестидесятые годы стали считаться отсталыми сторонниками крайних убеждений, с которыми Соловьев не имел ничего общего. Его могли считать консерватором за его религиозные убеждения, за его уважение к авторитетам, за то, что он, сочувствуя вообще благодетельным реформам Александра II, относился к ним не без критики; но во всяком случае он не сочувствовал крайностям консервативного направления. Соловьева можно, кажется, охарактеризовать теми словами, которые говорит о себе его сослуживец по Академии и старший современник А. В. Никитенко: “Есть прогресс сломя голову и прогресс постепенный. Если бы надо было себя сформулировать одною из тех категорий, на какие принято подразделять политические мнения в Европе, я бы назвал себя умеренным прогрессистом. Я худо верю в те учения, которые обещают обществу беспрерывное счастье и усовершенствование, но верю в необходимость для человеческого развития, на всякой степени которого для него воздвигается известная мера благ с неизбежной примесью известных зол. Верю, что не идти путем этого развития – зна-

чит противиться закону природы и подвергаться произвольно таким опасностям и бедствиям, которых избежать есть долг разумного существа. Как природа испытывает перемены времени года и с каждой переменой производит новые существа и новые явления, не выходя из общей сферы, определяющей ее деятельность, так и человечество не может оставаться неподвижным и должно раскрывать в исторической последовательности те силы, какие составляют его содержание" ("Дневник" Никитенко, т. II, с. 77).

Сергей Михайлович Соловьев был преимущественно и прежде всего человеком долга, свято исполнявшим свои обязанности. Этим объясняется весь образ его жизни. Своей главной обязанностью он считал служение государству, а также и своему семейству. Служение государству он исполнил двояко: с одной стороны, занимая кафедру, с другой – работая над "Историей России…". Соловьев известен был как самый аккуратный профессор во всем университете. Он не только не позволял себе пропускать лекций даже при легком нездоровье или в дни каких-нибудь семейных праздников, но и никогда не опаздывал на лекции, всегда входил в аудиторию в четверть назначенного часа минута в минуту, так что студенты проверяли часы по началу соловьевских лекций. Имея тридцать лет от роду, Соловьев задался целью написать подробную историю России и этой цели посвятил тридцать лет своей жизни, рассчитывая отдохнуть по окончании своего труда. Он не дожил до этой счастливой мину-

ты, и отдохнуть ему не пришлось. Жизнь его была жизнью труженика, жизнью отшельника, совершавшего трудный подвиг в своей одинокой келье, откуда он выходил только для обеда или вечернего чаепития. Чтобы выпускать ежегодно том “Истории России…”, читать несколько лекций в неделю, исполнять при этом посторонние служебные обязанности, писать журнальные статьи, необходимо было работать постоянно, без устали, необходимо было очень точно соразмерять свое время, и Соловьев, этот чисто русский человек, вел образ жизни аккуратный до педантизма, похожий скорее на образ жизни немецкого ученого. Он вставал в шесть часов и, выпив полбутылки сельтерской воды, принимался за работу; ровно в девять часов он пил утренний чай, в десять часов выходил из дому и возвращался в половине четвертого; в это время он или читал лекции, или работал в архиве, или исправлял другие служебные обязанности. В четыре часа Соловьев обедал и после обеда опять работал до вечернего чая, то есть до девяти часов. После обеда он позволял себе отдыхать; отдых заключался в том, что он занимался легким чтением, но романов не читал, а любил географические сочинения, преимущественно путешествия. В одиннадцать часов он неизменно ложился спать и спал всего семь часов в сутки.

Летом Соловьев гулял по несколько часов, но все-таки трудился почти столько же, как зимой, и только мечтал по окончании своего капитального труда предпринять путеше-

ствие по России. Как он отдыхал на подмосковных дачах, видно из следующего рассказа А. Д. Галахова: “Несколько лет сряду вакационное время (три месяца) проводил я в одной из прекрасных окрестностей Москвы, в селе Покровском, принадлежавшем Глебову-Стрешневу. Рядом с нашей дачей помещалось почтенное, всеми уважаемое семейство Сергея Михайловича Соловьева. По трудолюбию, неизменности в распределении времени для своих работ и точности их исполнения Сергей Михайлович мог служить образцом. Все удивлялись ему, но никто не мог сравняться с ним в этом отношении. Отсутствие аккуратности, постоянства в делах было в большинстве случаев ахиллесовой пятой москвича; у него же, сказать без преувеличения, ни минуты не пропадало напрасно. Вот как он проводил шесть рабочих дней в неделю: в восемь часов утра, еще до чаю, он отправлялся иногда один, но большей частью с супругой, через помещичий сад в рощу, по так называемой Елизаветинской дорожке, в конце которой стояла скамейка. Он садился на эту скамейку, вынимал из кармана номер “Московских ведомостей”, доставленный ему накануне, но не прочитанный тотчас по доставке, так как это чтение оторвало бы его от более серьезного занятия; чтение газеты как легкое дело соединялось с прогулкой, делом приятным. Обратный путь совершался по той же дорожке. Ровно в девять часов он пил чай, а затем отправлялся в мезонин, где и запирался, именно запирался, погружаясь в работу до завтрака, а после завтрака – до обеда.

Никто в эти часы не беспокоил его, вход воспрещался всем без исключения. Близкие знакомые нередко удивлялись такому ригоризму, даже подсмеивались над ним. Иногда они спрашивали дочку его (в то время шестилетнюю): “Верочка, сколько раз ты была у папаши в кабинете?” – “Ни разу”,– отвечала она. Конечно, очень немного таких отцов, которые запретили бы детям входить в свою рабочую комнату; но, с другой стороны, еще меньше таких, которые оставили бы после себя двадцать девять томов отечественной истории и томов десять, если не более, других ученых трудов. Воскресный день был для нашего историка истинной субботой, то есть покоем. Утром он ходил к обедне со своим семейством, а затем освобождал себя от всяких занятий и проводил время в кругу близких людей, преимущественно товарищей по университету, приезжавших к нему на обед и остававшихся до позднего вечера. Почти каждое воскресенье бывали у него Ешевский, Н. А. Попов, Кетчер, В. Ф. Корш, Дмитриев, Забелин, Афанасьев и многие другие. Все и всегда находились в самом приятном, веселом расположении духа. Говор и хохот почти не умолкали. Сам хозяин подавал пример своим искренним, задушевным, почти что детским смехом, который был свойствен москвичам того времени. А если завязывался спор, то уж это был спор на славу, громкий, жаркий и продолжительный” (“Исторический вестник”, 1892, № 2).

Рассказ Галахова относится к самому началу шестидесятых годов, но образ жизни Соловьева не менялся до самой

смерти.

Нужна железная воля, чтобы, подобно Соловьеву, всецело посвятить себя служению науке; нужно быть сильным духом, чтобы в молодые годы побороть в себе телесные инстинкты, не позволять себе никаких увлечений, ни малейшего отступления от предначертанной себе суровой программы. Он жил исключительно в своей работе, в области своих мыслей, не позволял себе почти никаких развлечений. К своим знакомым он ходил только с праздничными визитами и посещал их по вечерам в очень редких, исключительных случаях. Для близких людей дом его был открыт раз в неделю, по пятницам, и тут он был радушным и любезным хозяином, не позволявшим, однако, гостям засиживаться слишком долго, потому что это нарушило бы его обычный образ жизни и завтрашний трудовой день. Развлечения он позволял себе исключительно по субботам: в этот день он обедал в английском клубе и после обеда отправлялся в итальянскую оперу, где наслаждался музыкой и пением, которое очень любил.

Отшельник, посвятивший себя науке, не может не быть серьезен и даже суров. Серьезное отношение к жизни и к своей обязанности сказывалось и во внешности Соловьева. Он был очень сосредоточен, малообщителен, не любил болтовни о пустяках. Это не мешало ему по временам, особенно в молодости, добродушно подшучивать над своими знакомыми. Любимой его шуткой было писать записки на старинном русском языке, которым он владел в совершенстве.

Во время празднества после диспута К. С. Аксакова (это было в 1847 году) Соловьев прочитал сочиненное им сказание о том, как славяне, то есть славянофилы, ездили жениться, написанное по поводу помолвки одного из славянофилов Панова, и этим вызвал всеобщий смех. Несколько суровое обращение Соловьева со студентами и детьми объясняется тем, что он высоко ставил авторитет родительской власти и профессорского звания и, сам подчиняясь авторитетам, требовал, чтобы и ему подчинялись. Но под суровой оболочкой скрывалось отзывчивое, любящее сердце, сердце человека, всегда готового помочь своему ближнему в беде.

Соловьев не мог действовать иначе, не входя в противоречие со своими убеждениями. Как человек глубоко верующий он был всем сердцем предан христианству, религии любви и всепрощения. Религия играла в его жизни большую роль; в тяжелые минуты его поддерживала искренняя вера во всемогущего Бога. Он был человеком не только религиозным, но и набожным. Придавая значение обрядам как внешним формам, выражающим внутреннее содержание, он по воскресеньям и большим праздникам всегда ходил в церковь, ежегодно исповедовался и причащался.

Когда смотришь на полку, уставленную двадцатью девятью томами “Истории России с древнейших времен”, когда видишь, что этой полки не хватило бы, если бы собрать *все* его сочинения, то невольно удивляешься упорному трудолюбию, великому таланту, могучей воле этого редкого у нас

ученого. Никогда не забудет его имя читающая публика, никогда не забудется оно в стенах университетов. Профессора с благодарностью будут вспоминать Сергея Михайловича Соловьева, они будут указывать студентам на великого труженика, на завет, оставленный нам его светлой личностью: способствовать прогрессу, любить правду, стремиться к добру и к истине.

Непосильный труд сломил крепкую натуру Соловьева, не позволив ему дожить до шестидесяти лет. Сергей Михайлович Соловьев скончался вследствие общего истощения (болезни печени и сердца) 4 октября 1879 года; прах его покоится на кладбище московского Девичьего монастыря.